

ВРЕМЯ ШМБ 22 1977

**В НОМЕРЕ: СОЛЖЕНИЦЫН И ЛЕНИН ● НЕКРАСОВ, КАКИМ ОН БЫЛ ●
БУЛЬДОЗЕРНАЯ ЭПОПЕЯ ● РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ИЕРУСАЛИМЕ**



Александр Глезер И грянул бой...



Зиновий Зиник Перемещенное лицо

ВРЕМЯ И МЫ

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ

№ 22 октябрь 1977

Выходит один раз в месяц

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Зиновий Зиник*
"Перемещенное лицо" 3
- Гелий Снегирев*
"Автопортрет" 106

ПОЭЗИЯ

- Анна Горбунова*
"Кольцо запрета" 122
- Марат Векслер*
"Картинки жизни" 125

КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ИСТОРИЯ

- Борис Суварин*
"Солженицын и Ленин" 128
- Ефим Эткинд*
"Капля крови" 147

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

- Мордехай Сакар*
"Политические близнецы у баррикады" 175

ИЗ ПРОШЛОГО

Александр Глезер

"И грянул бой..." 184

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

"Русские художники в Израиле" 214

Коротко об авторах 220

Главный редактор
Виктор Перельман

Редакционная коллегия:

Фаина Баазова	Михаил Ледер
Георгий Бен	Борис Орлов (зам. гл. редактора)
Лия Владимировна	Наталья Рубинштейн
Егошуа А. Гильбоа	Дмитрий Сегал
Илья Гольденфельд	Иосеф Текоа
Михаил Калик	Аарон Ярив
Галина Келлерман	

Представители журнала:

В Америке — Эдуард Штейн.
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05 97 USA.

В Германии и Франции — Арий Вернер.
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

В Англии — Александр Штротмас.
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

ПРОЗА



Зиновий ЗИНИК

ПЕРЕМЕЩЕННОЕ ЛИЦО

Чтобы превратить четырехсотстраничный оригинал "Перемещенного лица" в контур для журнального знакомства, мне пришлось выбирать между двумя профилями этого перемещенного лица — профилем иерусалимским и профилем московским. Глядя с иерусалимской стороны, я выбрал московскую линию. Так виднее*.

Процесс написания "Перемещенного лица" совпадал с его сюжетом: приходилось разъезжать в кресле на колесиках по комнате, разбирая груды писем и надеясь, что кривая куда-нибудь вывезет. По этой причине авторские права на "Перемещенное лицо" в равной мере принадлежат еще и московским почтовым отделениям МА К-62, НП Б-61, ПУ Г-34, ЕШ Главпочтамт и АА Главпочтамт До Востребования. От их имени не могу не выразить публичную благодарность КЦГ (Кабинету Цензоров Главпочтамта), чья слаженная работа обеспечила беспрепятственную и своевременную доставку писем на мой адрес и обратно.

Возможные совпадения имен и характеров с реальными лицами являются случайными и непреднамеренными.

Классики цитируются без кавычек.

Зиновий ЗИНИК
29.10.77.

*В настоящей публикации принята сквозная нумерация избранных глав и отрывков.

copyright Зиновия Зиника

1

"Завтра Тамаев отбывает в Америку, похоже, навсегда. Он мне оставляет ключи от квартиры на улице Таити. Я его провожаю на аэродром, а потом возвращаюсь со своими вещами в его квартиру, и вылезать оттуда не собираюсь. Всю свою переписку, все бумажки и клочки я собрал, привел в порядок, уложил в папки с веревочками, и, таким образом, картина моего отъезда мне ясна. Единственное, что осталось, это при получении последующих писем находить соответствующее место в папках с веревочками, перекладывая листочки и открытки с одного места на другое. Этого занятия мне хватит на всю оставшуюся жизнь, и просьба не беспокоить меня случайными визитами. Здешним сумасшедшим домом я сыт по горло и спешу сообщить, что срок моей вольнонаемной службы в здешнем министерстве истины истек, и я больше не собираюсь кривить рот чужим звуком, гипнотизируя себя самого и убеждая себя в том, что путь к правде лежит через отречение. Причем считать, что правда эта не в нас, а наверху, на газетном стенде, и что даже если она сулит только тошноту, то тем хуже для нас. И если человеку худо, то худо должно быть всему миру. А если мир еще способен улыбаться, значит он лжив и гнивает. Я не привык собственное несчастье относить за чужой счет. И псевдоложь псевдомира относить за счет посторонних. Меня тошнит от представления о жизни как о гарантированной страховке. Чтобы баш на баш. И, не сделав ни одного шага никому навстречу, надуться желчью провинциального царька, к которому не идут волхвы и посланники. Мне надоело слушать, как бьют Гоголя Пушкиным за то, что Гоголь не писал стихов. Мне надоело смотреть, как собственное отличие видят лишь в том, что остальные не хотят присоединиться к лозунгу о собственном отличии. И требовать от этих неприсоединившихся признания собственной неправоты. Мне надоело общаться с людьми, обладающими душевной непробиваемостью ухмыляющихся скептиков, знающих всю подноготную. Мне надоело выслушивать выкрики абсолютных истин, не нуждающихся в слушателе, в виду своей абсолютности. Меня тошнит от навязчивого приписывания идеальных качеств тому, к

идеалу которого стремишься, путем уничтожения чужого идеала. Мне надоело смотреть, как идеал превращают в походное одеяло, и тому, кто не идет вместе со всеми в поход, идеал не выдается. Я обойдусь. У меня есть свои папки с веревочками. Я надеялся, что мое шутовство и игра в четыре руки хоть как-то избавят этот четвертый круг от тошнотворной честности, вся честность которого состоит в том, что тут, с целью не соврать, вообще молчат в подушку, а из всякого, кто пытается нарушить эту гнетущую немую честность, делают трепло, болтуна, ябедника, двурушника, уroda в семье, выносящего сор из избы. Ладно. Я тоже так буду делать. Молчи, скрывайся и таи, исчезни и растай, на Таити, к черту на кулички, к таитянам, к людоедам, крокодилам: эти, по крайней мере, не делают вид, что они твои родственники и выдерживают дистанцию. А тут ведь не знают, что такое внутренние территории и что такое нейтральные воды. Тут захватывают твою легкую надувную лодку и начинают ею капитанствовать. Здесь постоянно следят за твоими губами и ищут улыбку как доказательство собственной космической неудачи, как постоянное подтверждение, что мы — единственные несчастные создания на свете, и все остальные нам обязаны. Правильно изрекает Захар Баязитов А.А. глазами вечности: боритесь за лучшую культуру и поднимайте физкультуру. А мне пора уходить. Пусть все идет своим путем. Например, к черту. Мне же больше ничего не остается, как копать в своих папках с веревочками, справляя поминки по самому себе. Тебе же я отсылаю сочинения Захара Баязитова А.А. Ты, как астроном в прошлом, найдешь в его сочинениях родственную душу на пути к космогоническим изысканиям. Он заваливал своими изречениями глазами вечности нашу кафедру фольклора на протяжении десяти лет, и, перед тем, как меня оттуда выгнали, я уволок с кафедры одно из его основополагающих произведений, а сейчас, приводя в порядок папки с веревочками, обнаружил к твоему удовольствию. Пока".

Я знал, что этим кончится. Только зачем мне посылать сочинения Захара? Вы думаете, это первое такое послание? Такие послания я получал от Четвергана каждую весну, еще

в Москве. Неясные, намеки, явные оскорбления, приписываемые обвинения, рекримации и инсинуации. В такое состояние он впадал практически каждую весну, с тех пор, как его скандальным образом выгнали из института Русского языка, и он месяц пролежал в психбольнице. В такие периоды он всегда исчезал, удалялся, отгораживался, отшивал, всегда с каким-то исступленным милосердием. Недаром он собаку съел на истории юродства во время раскола: ты ему про Фому, а он про Ерему. Ехала деревня мимо мужика. Всегда от него ждал, что чего-нибудь выкинет, всегда надо быть настороже и ждать очередного бзика. Гимносоефист! Рахман! Оксюморон! Как только надвигалась весна, мания совершать непозволительные выходки и, прежде всего по отношению к самому себе, становилась фатальной. И он расшвыривался собственной судьбой, как трамвайной мелочью. Вселенная в такие моменты свертывалась в его руках в рваный рубль, и этой скомканной бумажкой он кидался в лицо главному официанту. А расплачиваться за разбитые зеркала приходилось друзьям и близким. Безобразная сцена с животными воплями на ученом совете кафедры фольклора лишила его не только зарплаты: она лишила его подмостков для протаскивания животных воплей под официальный мундир ученых диссертаций. Эта неприличная выходка во время голосования подарила ему месяцы психиатрической больницы. И если раньше все его юродство претворялось в словах, то теперь оно стало облачаться в поступки. Из метаюродства оно превратилось просто в юродство. И вот однажды зимней ранью он бросил тех, кем был богат. Я ждал его, как ждут жену, или дочь, или весну, или закат. Ехала деревня мимо мужика. Но куда мне тягаться с Тамаевым! Недаром он по фамилии Тамаев, а я, извините, но — Тутов.

Тамаев был не просто кинорежиссер. Ему пока не удалось снять ни одного полнометражного фильма, а все больше документальные репортажи с различных мест действия. Но Тамаев твердо знал, что если ему дадут деньги на фильм, то этот фильм спасет мир. И так как мир не давал ему денег на фильм, он был уверен, что мир идет к концу. Он постоянно был полон эсхатологических предчувствий. И так как всю

Вселенную он воспринимал как полнометражный фильм, где каждый день — отдельный кадр, а всякий фильм имеет свой конец, то и Вселенная двигалась к своему концу, и этот конец был близок. И вот, когда на экране появится страшное слово "конец" и зажжется свет, в зале вместо зрителей останутся одни скелеты. И Тамаев сойдет в освещенный зал с экрана в виде кинообраза, в виде облака, хлопнет в ладоши и режиссерски крикнет: "м-м-мотор!", и скелеты зашевелиются, и это и будет самый великий фильм о конце мира, который будет финансировать загробные силы. В кино самое главное — финансы. Сначала Тамаев прокручивал в голове бесконечные сюжеты своих неосуществленных фильмов. Потом он стал в голове ворочать миллионами, которые необходимы для этих неосуществленных сюжетов. Потом не осталось ни сюжета, ни звезд: остались только цифры, мелькающие перед глазами, у них были условные названия, названия будущих фильмов, сцен и звезд, которые примут участие в будущей неопределенной, но грандиозной цифре. Но зато к прибытию Четвергана он организовал встречу с телевидением. Нас подпустили прямо к самолету. Меня он записал осветителем. Меня подпустили к Четвергану в качестве осветителя. Тамаев его быстро заприходовал, прикарманил и абсорбировал у себя там, на улице Таити, и началось это прямо с аэродрома. Когда я приехал на аэродром и увидел телекамеры и суеящегося Тамаева, я понял, что у меня с Четверганом встречи не будет: она уже была, она уже была в уме, когда он был на том свете, а его приезд из Москвы будет лишь сплошным обманом. Тамаев ходил со своим отвратительным котом и все справлялся, не приземлился ли самолет. "Котика не с кем было оставить", сказал он мне заискивающе, "но Четверган рад будет, он ведь котика с Москвы не видел". Что Четверган будет рад видеть прежде всего меня — об этом он не подумал. И когда, наконец, я увидел его на выходе, на первой ступеньке самолетного трапа, у меня даже губы не дрогнули. Это была не моя встреча и не с тем, с кем встречи ждешь, потому что встречи ждешь с тем близким, от которого себя не отделяешь, а Четверган с первой секунды был отделен слепящим светом тамаевских

юпитеров. Я помню его неуклюжую согнутую и одновременно собранную в пружину фигуру, стоящую в свете прожекторов, бьющих в ночную тьму взлетного поля. Китовое тело самолета, и как будто из слепого глаза появляется он, взлохмаченный, щурится ослепленный, косоглазый, в руке чемодан, в другой пишущая машинка, и он не решается ступить вниз. И свет юпитеров обволакивает марлевой какой-то сеткой всю картину. И вдруг два слова крутанулись в виске: не он, не он, другой. Для меня он уже стал некто другой. В том же войлочном пальто с ветряной нахлобучкой на голову, не по здешнему климату, и, может, потому именно, что все тот же, как в Москве, невозможно принять его здесь.

"Это, значит, знаменитость прибыла?" спросил грузчик, просунувшийся в первый ряд, к телекамерам. "Четверган, Четверган!" возбужденно ответил ему Тамаев. "Что же вы ругаетесь, я же спрашиваю: встречаются кого?" обиделся грузчик. "Из-за ослепляющего света торжественной встречи с юпитерами я не смог в первый момент разглядеть лиц собственных друзей", сказал Четверган, когда к нему подлетела корреспондентка. "Свет прожекторов — начало ослепляющего света моей новой жизни на исторической Родине", появилось на следующий день в газетах в коротенькой заметке с большим заголовком "Русовед, Сионист и Ортопед". Кроме того, по фамилии он оказался в одном месте Ветрогон, а в другом — Верогам, а в русской газете вообще Чифиргейм. Как он оказался ортопедом, я еще способен объяснить: корреспондентка услышала, наверное, разговоры про его искривленный позвоночник; но "сионист" было излишней поэтической вольностью. Если к тому же учесть, что он по происхождению хазар, то есть, в сущности, татарин, и если бы не мой пригласительный вызов, сидеть бы ему в Москве до батырских времен. В течение последующих месяцев ему намекали, что ортопеды стране нужны, и что с работой — у него — не будет никаких проблем, даже не надо переквалифицироваться. Четверган кивал головой, и улыбался, и со всем соглашался. Эта улыбка! Они не знают, что значит, когда он улыбается. Они думают, что ему все очень нравится. Это улыбка, когда уголки губ поднимаются вверх,

как будто выдвигаются два маленьких кинжалчика. Но эта улыбка появилась позже, хотя я ее предчувствовал уже в первом объятии, в этом небрежном "А-а, привет, ты смотри, ты все в той же кепке?" Да, я в той же кепке, я был в той же черной трагической кепке, я был все тем же прежним, потому что знал, что той жизни больше не будет, а он был другим, потому что делал вид, что вокруг все по-прежнему. То, что нужно для Тамаева. И встреча после аэродрома была на квартире у Тамаева, на этой квартире, где, как известно, проживает черный кот, на тамаевской квартире, а не на моей. Четверган уплетал клубнику и все ахал: "Ну! клубника в январе! чего вам здесь не хватает?" Я смотрел на его косоглазое расставленное лицо, на лоб с театральным партером морщин, на как будто клоунски наклеенные губы, и понимал, что его лицо — это лицо, которое я помню по Москве, а не то, которое я вижу сейчас напротив себя, и что обращаюсь не к нему, а к тому, которого знал там, к собственному воспоминанию. С ним вообще трудно разговаривать, потому что он косоглаз, как татарский бог. Один глаз у него смотрит на Москву, а другой — на Иерусалим. Все зависело от того, каким глазом он на тебя поглядит. Есть, правда, еще один верный и неосуществимый прием: разговаривая с ним, самому начать косить параллельно. Он, как всегда, много пил и много говорил: "Черт, спускался с трапа, упали очки из-за ваших юпитеров, не разглядел, трах, раздавил, что теперь делать? Старые очки ужасны тем, что от них очень долго нужно отвыкать, если с ними что-то произошло. А когда я вставляю новые стекла, то к ним придется привыкать заново, что не менее ужасно. А новые очки всегда хуже старых, точнее тех, которые ты помнишь как старые, а потом снова наденешь и поймешь: носить невозможно, придется смириться с новыми". Он был возбужден. Он был возбужден на протяжении девяти месяцев. А потом изменился взгляд на действительность. Плохо, когда взгляд не тот. Дурные мысли существуют лишь тогда, когда мы их мыслим. Дурные воспоминания существуют лишь тогда, когда мы их вспоминаем. И вот нынешней весной с ним снова случилось. Сначала он завел при каждой встрече шарманку про "идеал, превращен-

ный в походное одеяло”, а потом что-то вспомнил. И вот он известил о том, что запирается в тамаевской квартире. Сначала Тамаев отнял у меня Четвергана, а потом сам умыкнул в Америку. Меня туда звали, но я отказался. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Мне нужен Четверган, чтоб с ним в аллеях городского сада молча пить кислое вино, не верить, что близка награда, а ждать того, что суждено.

2

Тамаев повез в Америку розовые надежды, в то время как Четверган уносил с аэродрома свой пессимизм. В тот день, 16 числа месяца китовраса в серую субботу, в соловый четверток, в желтый пяток, когда американский астронавт пожал руку советскому космонавту в космической пустоте, Четверган возвратился с аэродрома и, с трудом нащупав ключом замочную скважину в темноте лестничной площадки, открыл дверь тамаевской квартиры. Отперев дверь, ее нельзя было просто так распахнуть и войти в квартиру: открывать ее надо было поэтапно. Сначала надо было приоткрыть ее, и сразу засунуть ногу, как можно дальше засунуть ногу. Чтобы как можно дальше отбросить от двери кота, который норовил выскочить наружу. В квартире стоял тяжелый запах кошачины. Что оставил Тамаев Четвергану, укатив в Америку? Дюжину тарелок бумажных да две солонки фонтажных. Парусиновую кастрюльку и табашную люльку. Дехтярный шандал да помойный жбан. И еще кота, которого никто, кроме Тамаева, не любил, но сторожить кота в пустой квартире остался все-таки Четверган. Разве он сторож коту не своему? Когда Четверган вошел в квартиру, кот сидел на подоконнике раскрытого окна, и, вытянув шею, пристально всматривался вниз, как неопытный парашютист. Однажды, еще в Москве, он уже выпал из окна, и теперь его тянуло повторить неудачный эксперимент; или же кот был закоренелым самоубийцей? Четверган был бы рад самоустранению этого существа, но чтобы это произошло в его отсутствие, чтобы он к этому не имел отношения. Но зловердная сущность кота состояла в том, что он угрожал попыткой само-

убийства непременно в присутствии посторонних, то есть Четвергана. И сейчас ничего другого не оставалось, как выманить кота с подоконника: для этого надо было снова приоткрыть дверь. Потому что открытая дверь притягивала кота больше чем открытое окно, доказывая, в сущности, что самоубийство было для кота лишь уловкой в обретении свободы. Когда шантаж путем угрозы выпадения из окна становился неминуемым, открывалась входная дверь. Четверган распахнул дверь и позвал кота льстивым голосом. Тот недовольно вывернул свою шишковатую голову, повел взглядом в сторону двери и принюхался к сквознячку лестницы. Потом, принюхиваясь, бесшумно соскочил с подоконника, звякнув лишь колокольчиками ошейника, и засеменял к двери. Когда он присел на задние лапы, приготовившись к решительному прыжку в неизвестность свободы, Четверган тоже напряг коленки, и вот, баш на баш, когда кот уже был в воздухе, в прыжке был и Четверган. Пока одна рука захлопывала дверь, другая в рывке захлопывала окно. Возвратится ли Тамаев? И если он не возвратится, значит всю оставшуюся жизнь Четверган будет обречен или жить с закрытыми окнами или же ежедневно совершать подобные прыжки, скованный одной цепью с котом, черный и белый, русский с китайцем, братья навек, чушь собачья. Вот именно: кота звали Собачин.

То есть в Москве кота называли Себастьян. Но в связи с переездом в западный мир его имя изменилось и англизировалось: Себастьяна стали называть Себасчен. Но никто из говорящих по-русски не мог толком выговорить это англизированное прозвище, и в конце концов он превратился из Себасчена в Собачина.

Когда Четверган прошествовал в кухню, черное существо поежилось от его взгляда, но ничего не сказало, а повертев хвостом, сделало вид, что ничего не произошло. Обычно, после обманного маневра с окном и дверью, Собачин раздражался протестующим ревом, утробным человеческим стоном, и только войдя в кухню, Четверган понял, почему Собачин на этот раз злобно промолчал. Дверцы кухонного шкафа были распахнуты. Уезжая на аэродром, как, впрочем, всякий раз,

уходя из квартиры, Тамаев с Четверганом баррикадировали дверцы шкафа двумя раскладными стульями. Стулья на этот раз были сдвинуты, а как — оставалось расшифровывать. Не помогла даже крепкая аптечная резинка, несколько раз перетянутая и наверхенная на обе ручки, чтобы дверцы не распахнулись. Резинку кот явно перегрыз, хотя она находилась на высоте, недоступной перегрызанию. Цель вторжения в кухонный шкаф была разбросана по полу: это были разодранные картонные пакеты кошачьей еды под названием "феликс", коричневые котлетки, шарики, которые надо было размачивать в воде перед кормежкой. Все четыре пакета "феликса" были вскрыты и сожраны всухую. И последствия этой террористической акции можно было почуять в воздухе: кот явно обожрался. Но не это было самым чудовищным проявлением озлобленного мозга. Помойное ведро было вытащено из-под раковины, прикрытой шкафчиком, перевернуто, и его содержимое с методической эпилептичностью было развеяно по всей кухне. Но шедевром извращенного мозга Собачина был слой сахарного песка, снежной порошей прикрывавшей следы погрома. И совершен был этот акт вандализма вовсе не потому, что коту захотелось сладенького до того, что он ни перед чем не остановился. Ему не просто захотелось сладенького, и он залез в шкаф. Нет. Для Собачина это было бы слишком вульгарно. Аккуратные спирали и замысловатые зигзаги кошачьей мочи пестрели на ровном слое сахарного пергамента, и в других местах сахарный песок сиял первозданной чистотой, и к нему явно не притрагивались. Собачин явно пытался обратить на себя внимание. Чтобы дать понять. Чтоб его поняли. И тут сумасшедшая мысль: что если это не просто акт вандализма и погромного настроения, что если все эти спирали и зигзаги — загадочные иероглифы? Что если это зашифрованное письмо воробьям на подоконнике? прощальная булла отбывающему Тамаеву? эпистола вступившему в права владения Четвергану? вдруг кот извещает о своей конституции, ставит в известность о своем уголовном кодексе? вдруг он хочет через Четвергана сообщить нечто важное всему Человечеству? Ведь, собственно, кроме Собачина, не осталось у Четвергана

ни одного собеседника: Тамаев уехал в Америку, я, поссорившись с Четверганом, отбыл лелеять свою тень на Мертвом море. Четверган представил себе, как он будет обмениваться зашифрованными посланиями с Собачиным на сахарном песке, и мысль о том, что Собачин стал его единственным собеседником настолько потрясла его, что он, вооружившись щеткой, решительным шагом направился в комнату: выяснить этот вопрос раз и навсегда. По дороге в большую комнату он чуть не поскользнулся на лужице кошачьего изготовления, которая уже ни к какой письменности не имела отношения, не говоря уже о сургучных печатях, которые надо было осторожно обходить, вовремя заметив, и эти дополнительные улики свелись к тому, чтобы поймать кота и объявить ему свою классовую позицию раз и навсегда, то есть хорошенько вдарить ему по шее. Собачин, почуяв революционные перемены в воздухе, стал медленно передвигаться к единственному выходу в коридор, стараясь проскочить между ног Четвергана и непроходимой стеной. На мгновение головокружение от успехов обмануло Четвергана, и, когда он на секунду прижал Собачина к стене щеткой, тот вывернулся и рванул в направлении балкона. Четверган бросился за ним, балансируя на поворотах и огибая вавилонскую письменность. Понесся звон разбитых бутылок, потому что на закрытом балкончике при кухне, куда влетел Собачин, единственное окошко-форточка были благоразумно заперты, и он влетел в груды картонных коробок, куда складывали пустые бутылки. Достав Собачина щеткой в этом тупике, Четверган захлопнул дверь балкончика, и тем самым указывал кошачьим карцером. И сразу же из-за захлопнутой двери послышался дикий утробный вой и новый звон разбитых от возмущения бутылок; и морда Собачина возникла в окошке двери; он прижимал морду к стеклу и стучал лапой. Четверган для острастки еще раз стукнул в дверь щеткой, пошел в уборную, отмотал длинный лоскут туалетной бумаги и подчистую стер кошачье евангелие. Потом взял ведро с водой и вымыл как следует кухню и коридор, и ту большую комнату, в которой обитал кот, заодно уничтожая следы от пребывания

бывших обитателей квартиры. Этот кот, возможно, все делает для того, чтобы проверить способности Четвергана восстанавливать прежнюю видимость порядка. Как будто жизнь есть непрерывный и бесконечный процесс по наведению порядка в квартире, и эта страсть к наведению порядка в квартире есть сублимация беспорядка внутреннего. Котом руководит страсть к познанию человека. Кот существует для того, чтобы все шло медленно и неправильно, чтобы не мог успокоиться и замереть человек. Четверган долго отмывал в ванной следы тамаевских проводов и последствия этих проводов, и вышел из ванны в длинных синих, от прошлой жизни оставшихся трусах. По этим трусам можно узнать выходящего из ванной эмигранта. Если бы в тот момент, когда все живущие вне железного занавеса люди моются в ванной, раздался бы звонок — сколько из них вышли бы в советских синих трусах до колен? Сколько? Целые народы и государства. Это настоящее переселение народов, новое нашествие готтов, вест-готтов, зюйд-вест-готтов, ист-готтов и изгоев на новый Рим-Иерусалим-Русалим, в котором слишком много римлян, которые считают, что в Риме слишком много римлян. И какую весть несут эти вест-готты? Синие советские трусы! Которые взвоятся над развалинами прежнего Рима. И на этом флаге будет красоваться клеймо московской трикотажной фабрики. Хоть кинься во птицы воздушные, хоть в синее море ты пойдешь рыбою, а я с тобой пойду под руку под правую, в синих советских трусах.

Расправившись с котом, заперев его на балконе, по коридору он прошел из ванны в третью комнату: он наконец приблизился к тому, о чем мечтал с утра, с аэродрома. Кресло на гуттаперчевых колесиках: оно было как будто из другого мира, не имеющего отношения к шарообразному зною дня, к наглым выходкам кота, к грохоту на лестничной площадке и к тошнотворному эху мусульманской молитвы с холма напротив. Оно было ниоткуда, но всегда туда. Разве его можно сравнивать с моим тяжеленным обтертым голубым креслом, тупо стоящим у окна, из которого я тупо сижу и тупо слежу, насколько выросла за день величина тени у дерева напротив? Ветры гуляют и свистят и кажется, что сейчас сам

дом взлетит, только лететь ему некуда. А кресло на резиновых колесиках не принадлежало месту: оно само по себе было вселенной. Но оно менялось по желанию, оно менялось по всем направлениям: на нем можно было крутиться на месте, и когда крутишься, сидя в нем, отталкиваясь от пола ногами, оно начинало приподниматься, и вот уже ноги не доставали до пола, и вот уже сидишь на высоком берегу реки, болтая ногами. Который год мы не сидели на берегу реки, болтая ногами, чтобы можно было запустить в воду обломанную ивовую ветку с куста, нависающего над водой, и следить, как она сплывает вниз по течению под деревянный мост. Пахнет скошенной травой. Или нет: осокой. Осокой пахнет. Или когда еще снег весенний осыпается с берегов, или льдиночка плывет. Или нет, лучше, чтобы осокой пахло, и становилось холодно от тумана, подымающегося от воды, потому что день был жаркий. И медленно идешь с прутиком в руках, нащупываешь щеколду калитки и кусты стоят темные, а за кустами светится дачная терраска. И когдаходишь по ступенькам, щуришься от абажура, и чайник кипит, и надо найти старый пиджак за дверью, давно потерянный и не новый, четвертого поколения пиджак, и ежась, и непонятно чему улыбаясь, согреть руки о большую чашку чая и рассказывать Нине, что завтра, пожалуй, надо съездить на велосипеде в Пушкино за газовыми баллонами. И потом, путаясь ногами в сползающем одеяле, неуверенно догадаться до звука планирующего на твой нос комара, как раз в тот момент, когда ты с трудом задремал в непривычном запахе осоки и черемухи, керосина и набитого соломой матраца на дачной терраске. И в конце концов забывался с надеждой завтра утром увидеть снова вокзальную площадь, пирожки с мясом, стенды с "Правдой", где по перемещению портретов членов политбюро можно было сделать соответствующие выводы о не твоём будущем, и обсудить это за чашкой кофе у кофейной машины, когда наконец вырвешься с этой чертовой дачи и понесешься на электричке по направлению Новый Иерусалим — Москва. Уехал бы он, право, в Москву! Со своим летающим креслом. Из-за этого кресла, по его словам, он, собственно, и согласился в тамаевскую квартиру переселить-

ся. Так он сам, по крайней мере, мотивировал свой переезд на улицу Таити: из-за этого кресла. Ему обязательно нужен фиктивный предлог для идеологических вылазок.

Но когда он, предвкушая покой и волю усталому рабу спины, открыл дверь третьей комнаты, ему стало не до Фомы и не до Еремы. Кресло на колесиках, прекрасное и взвинченное, стояло посреди груды бумажек. Папки архива, систематизировать который стоило стольких усилий, которые с такой торжественностью переносились из Москвы на улицу Рабиновича 33, а с Рабиновича 33 на улицу Таити, эти папки с веревочками, с тесемочками и бечевками, были развязаны, разодраны, разметаны, раскиданы по разным углам комнаты, затемненной опущенными железными шторами. Собачин пересобачил, перечертачил, перепакостил, перегадил весь архив. Какой был архив! Бумажка к бумажке, письмо к письму, обратный адрес к обратному, марка к марке, номер к номеру, жизнь к жизни. Пролистать и умереть. Что, собственно, и предполагалось: пролистать и умереть. Сначала просиять и уехать, а потом пролистать и умереть. Превратив свою жизнь в цитату из чужого разговора, разложенного по конвертам. А теперь надо снова возвращаться на тот свет, в иную метагалактику, на чужую планету в поисках перепутанной, перевернутой, пересобаченной цитаты? Мы ведь давно отменили этот космический проект, мы ведь уже согласились, что чем больше вы у нас в мыслях, тем меньше нам есть чего сказать, и теперь предстояло заново выстраивать вымученную, вынужденную встречу? И вот Четверган сидел на кресле на колесиках перед окном со спущенными железными шторами над кучей перепутанных писем. Клочки, лоскуты, листочки: их хочется соединить. Еще раз проводить взглядом уезжающую машину. Еще раз попытаться сосредоточиться на чужих словах. Но они мешают, а не помогают. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Самогипноз. Он старался загипнозировать самого себя. Вот как это выглядит со стороны. Старческое бормотанье. Одна нелепость громоздится на другую. А это ему напоминает то-то, а это ему напомнило вот что, и пошло, и поехало, и закрутилось. Жутко.

* * *

"Аааа! уп! Аааа! уп! аааауп! уп!" До Четвергана дошло, что кто-то кричит. И кричит уже давно. Так может кричать осел. Так может кричать обезьяна, посаженная в клетку, соседнюю со своими детенышами. Так может кричать ребенок, если он захлебывается соской. Так может кричать святой мученик, когда ему вырезают язык. Так может кричать всякий, кому больше нечего сказать. Так кричит онемевшее существо, так кричит немой. Но в этом крике протяжное, слезное, взывающее, немолствующее "ааа" заканчивалось хлюпающим, телесным, с накопившейся от крика слюной, придыхательным "уп!", как сытая отрыжка. И поэтому в крике этом было что-то бесчинствующее. Крик был хриплый и надрывный. И непонятно, когда он начался, и непонятно, когда он должен закончиться. Четверган отложил обрывок газеты "Маша странна", простите, "Наша страна", и прислушался, медленно, как антенна, поворачиваясь на своем кресле. Спиралевидное завывание мусульманской молитвы шло, конечно, из окна, с холма напротив. С другой стороны, со стороны входной двери слышались тоже гортанные крики и стук. Вместе с диким завыванием "ааауп!", повторяющимся через равные промежутки, они создавали исступленную, хорошо рассчитанную какофонию. Может быть, там, на лестничной площадке кого-нибудь убивают? Дом был заселен людьми с темными лицами, их переселили в этот новоотстроенный дом из бараков по соседству, а в этих бараках они жили по три поколения, не меньше. Так и не выучив языка той страны, в которую попали, продолжая говорить на том языке, от которого бежали, и еще того семейного жаргона, который был непонятен ни на том языке, ни на этом, ни тут, ни там. Сомнительно, вылезали ли они однажды на соседнюю улицу хотя бы? Общались они друг с другом на лестничной площадке. С утра мужчины куда-то исчезали, а женщины постепенно появлялись одна за другой и начинали выколачивать половики, перекрикиваясь друг с другом. Стук продолжался, казалось, целые сутки. Можно подумать, что половики придуманы только для того, чтобы их выбивать, чтобы создавать пыль, которая будет впитыв-

ваться в половики, чтобы потом их можно было снова выбивать палкой. Если это требует таких нечеловеческих усилий и грохота, зачем вообще держать в доме половики? В Москве их надо было вытаскивать зимой на снег, растирать снег обувной щеткой, потом вывешивать половики на веревку между двух столбов и колотить палкой. Совершенно точно зная, что через неделю станет таким же пыльным. И цель этой сущности выбивания палкой состоит в том, чтобы родители имели возможность доказать детям, что они их приучают к мысли, что половики нужно выбивать палкой. Или точнее, приучать к мысли, что родители их приучают к мысли. Или мужа жён. Или дети внуков. Дяди племянников. И приводит это к тому, что в конечном счете человек жил в Москве, а оказался на улице Таити. Сопровождая все это жуткими криками. Соседки на лестнице находились на расстоянии нескольких метров друг от друга, но кричали так, как будто стояли по разные стороны железного занавеса. Может, потому что их предки родились в пустыне, но даже при встрече эти женщины кричали друг другу в лицо так, как будто каждый подозревал, что другая глуха на оба уха. А, может, потому, что у каждого в этом доме осталось подозрение, что другой не понимает того языка, на котором к нему обращаются, потому что из другой страны прибыл; и как всякий простой человек, разговаривая с иностранцем, начинал кричать: ему казалось, что если кричать, то слова понятнее станут. "Аааа-уп!ааа!уп!" продолжал надрываться немотствующий звук. Четвергану показалось, что в дверь постучали.

Он оттолкнулся ногами, и из третьей комнаты покатила на колесиках к входной двери и прислушался. Нельзя тут понять, по половикам стучат, в дверь или в твоё сердце, сдвинутое на колеса. Может, стук на лестнице он принял за стук в дверь. Может, случайно налетевшее на дверь существо в темноте лестничной площадки отозвалось у него стуком в сердце? Пепел рабочего класса стучится в наше сердце или это она костяшками пальцев колотится в дверь? Ведь если она действительно придет, за этим грохотом он не различит ее осторожного стука. "Ну, заходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять?" скажет он в темноту лестнич-

ной площадки, распахнув дверь, и из темноты прозвучит гортанный голос тамаевской уборщицы: "Половики не пора выколачивать?" Четверган, как посторонний этой квартире человек, подъехал тихонько к дверному глазку, и, загоразживая ладонью свет в комнате, чтобы нельзя было различить его лица, если глядеть в глазок с другой стороны двери, не смог различить там ничего, кроме смутных палочных взмахов. На лестнице была обычная полутьма. Вся эта домовая семейка считала лестницу нейтральной территорией, и если появлялась лампочка в подъезде, ее моментально вывертывали: поскольку лампочка становилась неопознанным предметом, ничьим, и ее, следовательно, надо было присвоить себе. Чего он помешался на этой лампочке? Она у него, как ленинская электрификация, светится родимым пятном советской власти, и он никак не может правильно сощурить свои близорукие глаза. Значит не нужен им свет. Им нужно стучать, чтобы их услышали. Может, они не просто живут в одном доме, может, они дети одних и тех же родителей, может, они все одна семья, а весь посторонний мир — другая семья, но из другого дома, на другой стороне улицы. И заметив, что он поселился в их доме, они своим стуком приглашают его присоединиться к этому небесному стуку, а он не хочет в одной семье, и вот хитро подглядывает в глазок, поглядит и сейчас уедет к себе в третью комнату, так ничего и не разглядев, а они специально, чтобы его приобщить, вывернули лампочку в подъезде. А если весь дом одна большая семья, то все время стучатся не в те двери, все время стук не по адресу, а по близости. "Аааупааауп!" Вот когда-нибудь ты так закричишь, и застучишь, и забьешься.

Четверган снова въехал в третью комнату, объехал разорванные котом газеты, кучи писем и бумаг, перевернутую пепельницу, подъехал к окну и с почти закрытыми глазами потянул на себя веревку жалюзи. Сейчас он откроет окно в Европу. Жалюзи поднялись со скрежетом танковых гусениц: свежего порыва ветра, ожидаемого по московской привычке, когда открываешь окно, не последовало. Пейзаж сиял желтизной, как запыленная глянцевая открытка, выцветшая на солнце. Окно выходило не на улицу Таити, которая

начиналась и кончалась сама на себе, потому что огибала возвышенность кольцом, а на холм, курившийся в воздухе желтоватым облаком с белеющим мертвым пальцем мусульманской мечети, который, как мухами, был обсажен слепыми нашлепками арабской деревни. С холма доносились голоса, в которых ничего, кроме них самих, не было, но, звучащие издали, они заставляли себя подозревать и отгадывать, как будто звучали из дальней летней кухни на даче, где говорят про хозяев, позвякивая посудой и ножами. Была середина дня, и с мечети завывал невидимый голос. Звук поднимался спиралевидно, как смерч, и обрывался так же неожиданно, как начинался. Никогда нельзя было понять: он начинает или заканчивает, и когда возникала пауза, и хотелось вздохнуть освобожденно, звук снова начинал взвизгивать вверх, чтобы снова оборваться, когда сердце не выдерживало напряжения. И в этих разрывающих легкие паузах раздавалось бесчинствующее и немотствующее "aaa! up!"

Четверган высунулся в окно и отыскал, наконец, глазами источник звука. Под окнами, на выжженном склоне лысого холма стояла кургузая фигура, и истошно кричала через равные промежутки. Его лицо было задрано вверх, оно было кругло и натянуто на кости, как надутый полиэтиленовый мешок, и, когда он раскрывал беззубый рот, оно стягивалось к шее, выпячивая губы, от глаз оставались одни щелки, и надутый лоб сморщивался и покрывался струйками пота. Потом оно снова надувалось и краснело, и на его выбритой голове с приклеенными на висках косичками, на круглой мозоли выбритой макушки, как черная дыра вырисовывалась черная шапочка-ермолка. Когда он снова задирал голову, чтобы издать этот горловой звук отчаяния и одиночества, ермолка, казалось, сейчас взлетит, как летающая тарелка. Сверху была видна только эта задравшаяся голова, приставленная к животу, ног не было видно, их, казалось, не было, но Четверган вспомнил и это раздувшееся лицо, и живот, и пропотевшую, приклеенную к макушке ермолку. Это был нищий, профессионал, профессиональный слепой нищий, с гремющей жестяной в одной руке и инвалидной палкой, с которой был снят резиновый наконечник-пробка, чтобы сле-

пому был слышен стук собственной палки о препятствие. Он проживал в том же доме. У главпочтамта, где он стоял по утрам, он выглядел совсем по-другому. Он был огромен, и голову задирал вверх, выставляя тяжелый подбородок, и сощуренные складки слепых глаз поворачивались из стороны в сторону. Палка его висела на тяжелом военном потрепанном ремне, и обеими руками он сжимал жестяную банку, гремя мелочью. Когда он слышал шаги очередного прохожего, он сначала склонял слепую круглую голову набок, вслушиваясь в направление шагов, и косичка с виска свисала перпендикулярно в воздухе, но не падала черная нашлепка на голове, а только превращалась в огромный следящий, еще один, третий циклопический глаз. Как только шаги приближались, он выхватывал из-за ремня палку и устремлялся навстречу прохожему. Тот морщился и, покопавшись в карманах, кидал в жестянку монетку, и нищий сразу отступал на старую позицию, переложив накопившуюся горсть монеток в карман, и снова застыл с неестественно задранной головой. Может, он еще и немой? Но немые не умеют кричать. Детский страх перед инвалидами, перед безногими, кривыми, слепыми, немymi заставлял Четвергана всегда обходить его, когда он сталкивался с ним в подъезде, когда шел к Тамаеву. Немые умеют кричать, слепые умеют различать препятствие: в этом явном отсутствии необходимого, в отсутствии глаз, рук, языка, скрыта нечеловеческая сила: это отсутствие восполняется сверхъестественным тайным умением, наличием небесной сноровки: убийственной, если затронуть его видимое бессилие, и исцеляющей, если боготворить этот врожденный изъян. Чего и не хватает Четвергану: явных недостатков, того самого ужасного несчастья, которое напряжением превращается на собственном пике в жуткую силу, способную двигать письмами на расстоянии. Чего стоит его искривленная спина? Она не способна искривить своей болью космическое пространство так, чтобы исчезли государственные границы и образовался прямой путь через искривленное пространство. Ему хочется быть самым несчастным, чтоб ему было хуже всех на свете, чтоб он наконец добрался до тупика, чтобы была стена, через которую можно пере-

прыгнуть и убедиться, что там? что там ничего нет? Ему не хватает той обреченности и веры в чудо, которые заставляли юродивых калечить самих себя, чтобы через необходимое отсутствие обрести полноту действия. Как этот слепой нищий двигался к автобусу, быстро и уверенно постукивая палкой по кромке тротуара, и все уступали дорогу, и дверца автобуса раскрывалась, и автобус ждал, и только, когда он входил в автобус, и все вскакивали с передних мест, уступая ему сиденье, легкая ироническая самодовольная улыбка силы искажала его беззубый рот, и все смущенно отворачивались, потому что не знали значения этой улыбки. И тогда слышался рог. И тогда рог пел. И лепету палимого уroda победная сопутствовала медь. Теперь он стоял обожженный солнцем на фоне этой пыльной открытки с мечетью на горизонте, как будто вырезанный из этой почтовой открытки, и кричал безумным криком "Ааауп!", и рука его по привычке трясла жестянку, в которой гремела мелочь. "Ааауп!" В этом звуке послышалось не только злое и отчаянное, он заметил переход в одинокое и печальное "ауу", оно мелькнуло это лесное "ау" голосом заплутавшегося ребенка, понимающего, что где-то рядом взрослые весело собирают грибы и должен же кто-то из них откликнуться.

Но Четверган не понимал, кого зовет слепой нищий. Он сам дожидаясь, что на его крик кто-нибудь откликнется, он на это тайно рассчитывал. Он глядел из окна на мутную почтовую открытку за окном глазами, уставшими от кучи писем на полу комнаты, и в первый раз своего пребывания здесь испугался: безнадежное место. И это очевидно в первый же миг, как только глянешь глазами, измученными от нелепых преувеличений природы, от постоянного внимания всей молчащей тишины плешивых холмов, брошенных навсегда позади. От людей, которые молча кричат страшными нутряными голосами: их лица и глаза утомляют, изматывают, их спины нагоняют тоску. Их непомерная и всегда пугливая гордыня похожа на струйку ртути в палочке термометра: растет от тепла и указывает на болезнь. И что это в горле всегда першит? Чахотка? сухотка? Или вечный насморк, револьверное подергивание мокрым носом и гнусавое умст-

вование под влиянием гайморита. Он глядел сверху вниз. Он глядел сверху вниз из окна на кричащего нутряным голосом слепого человека. "Аааа!уп!ааа!уп!" Сначала грустные проводы, похожие на веселье похороны, потом самолеты и объятия, непонятные как всякие объятия своим прощательным и встречательным смыслом, потом забудешь и первый праздник и позднюю утрату, и из вечного пассажира, пролетающего над народами и государствами, ты превратишься на этой улице, в этом доме, в этом городе, на этом земном шаре, в этой метagalaktике в этого слепого человека с похоронной шапочкой на макушке и с душой, набитой старыми конвертами, и ты завопишь таким же страшным нутряным голосом. Может, и есть на небе такое окошко, откуда выглянет на твой дикий вопль облысевшее существо, которое читает все письма на свете? Высунет обвисший, уставший от любопытства нос, поглядит, пустит слезу и закроет окошко, вернувшись к этой всемирной переписке, в свой главпочтамт, в свой черный кабинет, где все на свете цензуруются письма, потому что интереснее, конечно, получать и читать письма, а не вслушиваться в крики благим матом всех опупевших младенцев, которые кричат только потому, что ты живешь, и это смертный грех, потому что нечего было появляться на этот свет. Если есть силы писать письма, значит еще ничего, значит еще не все кончено, а когда уже нет слов, а больно? Когда уже так плохо, что только взять, да и выть в календарь. Человек кричит, чтобы кто-нибудь услышал, он начинает кричать бессловесным криком, чтобы каждый услышавший знал, что ему плохо. Он начинает кричать, он начинает выбивать половики, он начинает бить посуду, он начинает кричать "ааааааааааууууууууааап!" Он начинает так кричать, когда понимает, что вокруг все снизу доверху говорят на иностранном языке. Он знает, что по-другому ему никак не объявить о том, что ему больно. У Четвергана вдруг задрожали губы, и знакомое с детства желание выпрыгнуть из окна закопошилось под ложечкой и отозвалось сразу легкой тошнотой, головокружением и стуком в висках.

— Ааауп! ааа! уп! — вдруг вырвалось у него из горла, и лоб покрывлся капельками пота. Он до крови закусил

губу, и зажатый зубами крик сначала перешел в немое мычание, его затрясло, он закрыл лицо руками и стал забормотывать, заговаривать рыдание бессмысленным лепетом: "Это ничего. Это сейчас высохнет. Тут все быстро сохнет. Надо подуть, и сразу высохнет. И ножниц не надо. Только клей и еще иголка с нитками. Кто мне пуговицу пришьет? Кто мне лампочку купит? Не нужно шоколадных конфет, чай лучше всего пить с дешевым мармеладом. Я обойдусь. Я пойду другим путем. Я буду иметь вас в виду. Значит, это мне пора уходить. Я бросил всех, кем был богат. Надо только на правильное место положить". Глаза стали высыхать.

— Ну чего орешь? Ну чего орешь? Все пропил? женский гортанный охрипший голос кричал как будто ему. Он поднял лицо от рук, понял, что кричат из окна сверху и слепой внизу замолк и, склонив голову, как будто слушал. Значит, все-таки, слышит? — Все пропил, паразит, всю милостыню? Не пушу тебя домой. Чему детей учишь, паразит? Пьянству? Так и будешь всю ночь стоять. Чего орешь, морда слепая, покой нарушаешь? — кричал визгливый голос жены нищего.

3

"Ее императорское величество соизволила предпринять путешествие во Фридрихсгам. Июнь 15. Прибавка по новому стилю для XVII века 11 дней — 26 июня. Ранее извещено было, что 9 предпринял Шведский король путешествие в Финляндию" и ниже, более мелким почерком: "16 июня Ее Императорское Величество осчастливить изволила город Фридрихсгам своим присутствием, куда

18 июня прибыл так же Шведский король под именем Графа Готландского

22 июня Ее императорское Величество предприняло обратный путь 24 июня Соизволила прибыть в Сарское село в вожденном здравии В конце сего месяца известный Васгинтон сложил с себя правление над Американскими войсками, чтобы последние дни жизни препроводить в своих местностях, в тишине и покое"

снизу было выписано:

"хронологическое расписание знатнейших 1782 и 1783 года приключений. М е с я ц о с л о в на лето от Р.Х. 1784, которое есть високосное, содержащее в себе 366 дней, сочиненный на знатнейшие места Российской Империи в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук".

На чей день рождения четыре года назад он заготовил эту открытку? Четверган, будучи не в силах подняться с кресла на колесиках и, перебирая ногами, разъезжал от одной бумажки к другой, убеждаясь, что все безнадежно к свиньям собачьим перепутано кошачиной. Выписка из месяцослова была сделана на левой части картинки с вавилонским петухом: часть картинки была расщеплена, и верхний слой был содран так, что на оставшейся белой части можно было что угодно навывисывать. Кто такой Васгинтон, сложивший с себя правление над американскими войсками? Он сложил правление и, наверное, на его место и уехал Тамаев в Америку. Васгинтон, Чильд Гарольд, Шекспир, Гишпания, Вашингтон, конечно, а не Васгинтон. Транскрибция. Как бы затранскрибировать адекватно этот хаос? Этот "фридрихсгам"? Куда он, Четверган, в конце концов, сложив с себя правление войсками соизволил в вожденном здравии прибыть в обратный путь? Он поглядел на обратную сторону открытки, и выяснилось, что петух вовсе не вавилонский, а это деталь украшения врат церкви Троицы в Никитках. Не надо было заводить архива и трястись над собственными открытками. Открытки надо было вовремя отправлять и забывать о том, что там написано, как можно быстрее, пока не отзовется. Но невозможно предсказать, как наше слово отзовется. Сначала слово, а потом дело. Папки, на которых крупными черными буквами написано "ДЕЛО №№". Теперь номера перепутаны. Солнце крутилось в столбе пыли, поднятой котом, и это поднятие пыли продолжал Четверган. Только недавно эти папки с делами под номерами были уложены на полках, на столе придвинутом к окну с лампой с подвижной спрутовой ножкой, которая выгибалась в любую сторону. Сейчас это была куча. Куча вавилонских табличек, в которых не было последовательности и, следовательно, смысла. Папки с веревочками были растерзаны, письма, выписки, открытки, газетные вырезки разметаны, как пух от подушки по всей комнате, как после обыска. И вместо отпечатка кошачьего сапога на растерзанных листочках обнаружил следы кошачьих лап и когтей. А такая была надежда на эту третью комнату, где все уложено по датам

и событиям, с окном, в котором был виден обоженный верблюжий холм с арабской мечетью на вершине.

Москва, Копьевский пер. Четвергану ко дню рождения:

"Я приду к тебе завтра. Завтра я уйду от тебя. Где мы все будем завтра? Моя третья дочь умерла. Первые две остались живы. Сеида укусила змея. Он пошел домой. Ахмед курит кальян. Ты хочешь жить в своей деревне пока не умрешь, а я хочу видеть другие страны".

На другой стороне открытки зелеными чернилами:

"Мы русские. Вы не русские. Они не персы. Они турки. Все люди братья. Я кузен".

В правом углу синими чернилами:

"Белая овца пришла домой первой, а черный бык пришел вторым. Она седьмая. Он десятый. Рыба хуже мяса".

Коричневыми чернилами:

"Это чадра Лейлы. Она ей нужна. Это волосы Али. Щека Лейлы. Вуаль Фатимы здесь".

И с левого боку синими чернилами:

"Сам сом с усом. Я не перс. Вы персы и мы персы. Чей чан? Хасан хочет халвы. Черный осел ревет. Это экипаж эмира. Человек стоит у входа в пещеру".

Оранжевыми чернилами выделялось:

"Что тебе нужно было у Хасана? Я хотел взять у него осла. Мой осел ушел вчера, а мне нужно идти в город. Хасан дал мне своего осла. Хороший человек Хасан".

В середине на машинке "Олимпия":

"Вчера барс унес козу. Может быть завтра медведь унесет быка".

И по краю всей открытки:

"В позапрошлом году я женился. В прошлом году я имел свой дом. В будущем году я буду уметь читать. Мир до нас был тысячи лет и после нас будет" и черными чернилами крупными буквами: "Это лучше того".

Внизу было подпечатано:"Начальная книга для обучения русскому и персидскому языкам. Москва 1928".

В углу над адресом марка изображала чучмека в дохе с нахлобучкой для головы. Чучмек улыбался, а рядом молодой человек вез к нему тачку, держа на плече лопату, а пионерка кормила овцу. Все это называлось "Маршрут Г и о - н е р с т р о й". Круглая почтовая печать залезла на марку и под пятиконечной черной звездочкой можно было разобрать дату. 16.6.72. Москва Главпочтамт. На слова налезала ответная печать "Москва Б 6 1" с датой получения 16.8.72. Неужели

открытка шла два месяца? И, за время пути, начальной книге по обучению персидскому и русскому языкам удалось подрасти и стать не начальной, а окончательной. Это было жутко актуально тогда, когда это было жутко актуально. Только в последний момент доходило, что открытка вырезана прямо из обложки учебника, ну из титульного листа и кусок заголовка. Начальная книга замечалась в последнюю очередь. А в середине, то, что казалось случайными росчерками, было арабской вязью. Или персидской. С нашими способностями полиглота можно даже постараться прочесть и убедиться, что действительно "начальная книга для обучения персидскому и русскому языкам". Когда читаешь, главное помнить, что например, буква "а" в арабской письменности меняет свой вид, в зависимости от того, стоит она в середине, в начале или в конце слова. Такое лицемерие и хамелеонство в зависимости от географии. Где мы все будем завтра?

Было бы хорошо перенести всю эту кучу и завалы вавилонских клинописей в Москву, в комнату в Копьевском переулке, там все стало бы на свое место. Для каждого кусочка макулатуры моментально отыскался бы свой адрес, и адрес отправителя не звучал бы как адрес отравителя с того света. Слова, упавшие с неба. Там их можно было подвесить на одну проволочку, по которой каждый ходил, и эта проволочка становилась мостиком и человеку легче было идти. Там для каждой заготовленной открытки была своя стопка книг, под которую склеенную открытку можно было подложить на просушку. Пачки итальянских газет служили хорошей подстилкой для проклейки. И потом можно было, не вставая с тахты, протянуть руку и вытащить из пачек до потолка старую итальянскую газету, выдрать из нее случайно попавшийся кусок и, расловив его, присобачить резиновым клеем к чему-нибудь еще, например, к вырезке из книги для обучения русскому и персидскому языкам. И отыскав в записной книжке очередное из 366-ти дней рождений, если год был високосный, отослать по почте. Над головой тикали ходики, за окном падал неуклюжий знакомый снег, и если кто собирался ехать в следующий

четверг в очередной Фридрихсгам, а если не во Фридрихсгам, то хотя бы в Подрезково, то открытка про Ее Величество, которая соизволила прокатиться на лыжах под Мытищами, звучала вполне актуально и поднимала лыжницу в ее собственных глазах. Правда, когда очередной запыхавшийся и случайно подаренный месяцослов вытаскивался из-под пачки газет, вся стопа могла рухнуть и обрушиться на изготовителя, и приходилось из-под нее выкарабкиваться, чихая от пыли, а потом разбирать и укладывать газету в стопку заново. Но в процессе этого укладывания отыскивалось еще чего-нибудь подходящее для другого четверга про инкарнацию и четвергазм, и поэтому хаос оправдывался. Встретив адресата на очередном четверге, закручивался разговор, в котором неизбежно крутились слова открытки, за ними тянулись другие слова, и слова уходили, но некоторые все-таки оставались, из тысячи одно. И слово это становилось сакраментальным, оно звучало в разговоре как пароль, и все четверганисты во главе с Четверганом напоминали массонов, вокруг которых свистела пурга и милицейские свистки, и когда Нина, хозяйка дома, подавала чай и кто-нибудь из случайных гостей четверга просил кипятка, Четверган вскидывался: "Так Вы не чай пьете? У вас, значит, есть понятие заварка? Скажите, а молоко вы тоже кипятком разбавляете?" И все четверганисты одобрительно переглядывались и неодобрительно косились. От слов ничего не требовалось. От слов требовалось только одно, чтобы они помогали продолжению разговора. От слов не требовалось дела. В деле были заинтересованы люди в кителях безопасности за окнами четверга. Но на четверге каждый был заинтересован лишь в продолжении разговора. Единственное, что было невдомек Четвергану, что весь разговор начинался им и заканчивался на нем, и, когда он уехал остался не разговор, а пьяные крики на поминках по Четвергану.

Он подъехал на колесиках к куче конвертов, бумажек, почтовых открыток и газетных вырезок и стал ворошить в этой куче прутиком, как старьевщики на помойках ворошат железным крючком.

"Так вот, появился твой бывший собутыльник, естественно,

с бутылкой водки, и как всегда с шумными поцелуями, объятиями, и изъявлениями в преданности. О какой преданности может быть речь, если я его видела раза четыре, когда ты являлся в его сопровождении в пьяном состоянии, и при этом я его толком не успевала разглядеть, так как жарила вам яичницу с колбасой и шла спать. Ну, неважно. Он, как всегда, откуда-то вернулся с кучей денег. То ли из Сибири, то ли из Казахстана, или Дагестана, и непрерывно рассказывал кучу историй, которые я тебе, так и быть, перескажу в следующем письме. Я несколько была в шоке от его прихода, потому что собиралась закончить переклейку обоев и покраску до отъезда на дачу, а мы, вместо этого, после каждого метра стены выпивали рюмку водки, и в результате нам, почему-то, не хватило краски. Потом он сбегал в соседний продмаг за еще одной бутылкой и явился с каким-то своим приятелем, которого звали прямо так непосредственно Ваня. В промежутках он читал твое первое, измазанное клубникой, письмо. Действительно у вас в январе клубника? Сейчас, кстати, раздался звонок и мне сообщили, что получили письмо от общих знакомых, в котором все про тебя написано: как ты сидишь в подушках в окружении девиц, которые ловят каждое твое слово. И что ты повесил мою фотографию в купальнике. Одна общая знакомая жена прокомментировала: повесил полуголую фотографию, чтобы она его возбуждала, когда он спит под ней со своими бабами. А меня возмутило: зачем ты повесил ЭТУ фотографию? Я там ужасно худая и страшная. Так что я тебя прошу: повесь какую-нибудь другую. И еще, что это за подушки из-за спины, что у тебя вообще со спиной, у меня такое впечатление, что ты загибаешься, а когда ты написал про кресло на колесиках, я сразу представила, как ты на инвалидной коляске перемещаешься от одной бумажки к другой.

Пока я разговаривала по телефону, твой бывший собутыльник спросил: "А министром инкарнации он кого называет?" Я сказала: "Ну, министра же и называет, это, понимаешь, не то, чтобы он был с ним знаком, а так, вроде поговорки, в том смысле, что в этом сам черт не разберется.

только вместо черта он говорит министр инкарнации, это не значит, что он кого-то имеет в виду". Он, по-моему, ничего не понял. А Ваня стал читать стихи: "И вспомнились мне худенькие лица болезненных, задумчивых детей, лишенных, как в тюрьме, в твоих стенах, столица, цветов и воздуха полей". Ты не знаешь, чьи это строки? Потом, когда мы вернулись к заклеиванию "Америки", Иван куда-то исчез: где Иван? Нет Ивана. Никакого Ивана Ивановича. "Нина! Я, кажется, выпал", вдруг услышала я. Он, оказывается, мирно выпал с балкона, не нарушая ритма ремонта. Это был второй этаж, но мог быть и двенадцатый, если бы дело было на другой квартире. "Тебе нужно учиться у Вани великой скромности падения", сказала я ему. Он восседал в твоём кресле с рюмкой водки и нахально на меня пялился. И у меня началась с ним тяжба по поводу твоего кресла. Я ему в течение вечера дарила это кресло, потому что после ремонта оно абсолютно не смотрится и излишне напоминает. И он, наконец, милостиво согласился. Но мне было поставлено условие доставить кресло в его комнату. Но кресло до сих пор в моей комнате. Потому что в результате он сказал с твоими интонациями, что терпеть не может женщин, поскольку они своими заботами о человечестве создают человечеству дополнительные заботы, и с какой стати он вообще будет заниматься этим креслом, если он давно не занимается человечеством. И пускай я все беру на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе в комнату, он, может быть, немножко на нем посидит, но скорее всего нет, потому что мы его обязательно поставим не туда, куда следует, а передвигать он его не будет, потому что это вообще моя акция и пусть я на нем и сижу. И вообще, сказал он, у него была одна вера на свете, что только русские девки не способны на предательство, а теперь он совсем атеист, поскольку его Маша — ну, помнишь, девица с выжженными глазами, жена-не-жена, она, в общем, вышла за кого-то подходящего замуж и теперь собирается в вашем направлении. Может она уже у вас? Но ты ничего не пишешь, куда ты пропал? Где ты, милый, что с".

Четверган с детской надеждой перевернул на другую сторону исписанный шариковой авторучкой листок письма, но там еще раз засверлило в висок чужое участие в переклеивании стены. Он снова полез глазами вниз на другую сторону и снова прочел: "Где ты, милый, что с", и от этого тоскливого незаконченного-го-го-го "что с", в котором даже на вопросительный знак не хватило места и которое так и застыло, как само собой разумеющийся безответный вздох, снова хотелось повернуть листок письма перед глазами. Тоскливая жизнь,—как будто дошел до конца второй половины письма, переворачиваешь листок и набираешь дыхание, а на другой стороне та часть письма, которую минуту назад уже прочел. Такое было впечатление, что нет третьей листка письма: должен был бы быть еще третий листок, чтобы понять, кто там вернулся из Сибири и кто уехал в Казахстан, но этот листок выпал. И чья такая, эта Маша, жена-не-жена, которая движется в нашем направлении? И кто налетел как инкарнация или хамсин? Что за хамсинка-рация там происходит?

Никто на самом деле толком не заметил, когда Нина вошла в жизнь Четвергана. Она вдруг стала появляться в кафетерии гостиницы "Москва" каждый четверг, и прилежно пила два двойных с одинарным сахаром, и заедала по его указаниям запеканкой и булочкой с маком, хотя, возможно, ей хотелось именно бутерброд. Но скоро все заметили, что все свои открытия про клей, чай, ПБ и ЦК и даже про юродство на Руси он сообщает именно ей: то есть, трудно было сказать, кому он что сообщает, но все сразу заметили, что, произнося сентенции, он смотрит ей в глаза полутороглазым стрельцом. Вначале я не слышал от нее ни одного слова, хотя, может, просто не пришлось, поскольку появлялся на этих конгрегационных кофепитиях по четвергам лишь по случаю, когда ночь предстояла пасмурной, и отменялось дежурство в обсерватории. Она помалкивала и жевала булку с маком, а потом двигалась вместе со всеми в направлении Пушкинской площади. Единственное, что я заметил — это ее улыбка. Она

правильно улыбалась. То есть, она даже не улыбалась, хотя я один раз заметил, что она закусил губу, чтобы не расхохотаться. Но у нее глаза правильно смеялись. Она вытягивала шею, когда стояла за стойкой, чтобы дотянуться губами до чашки кофе, и не глядела по сторонам, но в самый нужный момент она вскидывала голову и смеялась такими понимающими глазами, что Четверган переходил с ворчливых бормотаний на еле сдерживаемую улыбку, не ту, при которой уголки губ выдвигаются, как перочинные ножички, а ту скрытую улыбку, которая заставляет распрямлять взгляд и лететь на разговоре, как на велосипеде. И кофе становилось лишь поводом, как, впрочем, и клей, и лампочка. И она это сразу поняла. Все четверганисты относились к каждому его слову с сакраментальной утомительной сосредоточенностью. А она вдруг стала улыбаться, и сначала на нее поглядывали с подозрительностью и молчаливым возмущением, а когда поняли, что она единственная, кто поняла, чего они не смогли понять при всей своей преданности четверганизму, было уже поздно. Когда в середине его закрученного монолога про главу раскольников, юродивого Никиту Пустосвята, она вдруг отставила на секунду чашку кофе и умелым домашним движением поправила ему завернувшийся воротник пиджака и нелепо торчащую за шеей вешалку, все быстро переглянулись, и, вздохнув, стали пить кофе на новых основаниях. А потом вдруг было объявлено, что по вечерам, по четвергам, его можно застать в ее квартире на Преображенке. А когда наступило лето, стало известно, что его можно застать на даче ее родителей, под Новым Иерусалимом. И пошли новые периоды четвергов, периоды Преображенские и ново-иерусалимские. Сколько погод пролетело, прошло, поменялось. Летом у нее всегда были разбиты, как у мальчишки, коленки, потому что у нее ужасно торчали коленки, и было смешно смотреть на ее высокую теннисную фигуру, когда она терла ушибленное место, по-девчачьи морща нос. Она пыталась наладить его жизнь с молчаливым упорством, как будто заранее зная, что дело обреченное, но надо улыбаться. Она была гением ненавязчивой близости. И когда на него напал приступ весенней, открыточной горячки, и он удалялся в

свою конуру в коммуналке в Копьевском переулке, и клеил открытки, она позволяла себе лишь незаметно там появляться и приносить ему еду и питье, извещая о своем приходе осторожным легким снежком в окно. И только после того, как его выгнали с кафедры фольклора и он пролежал месяц в психиатрической больнице, ей приходилось серьезно скрывать свое беспокойство, когда он удалялся в свое логовище в Копьевском переулке.

Скандал произошел тогда, когда ученый совет кафедры фольклора поставил на голосование резкое осуждение работы его учителя о смеховой культуре древней Руси. В этой работе учитель Четвергана неоспоримо доказывал, что в средние века "Задница" была амбивалентным понятием, а в двадцатом веке амбивалентной быть перестала. Ученый совет поставил на голосование осуждение работы как буржуазной, искажающей гуманистические искания народной культуры, и в конечном счете направленной на свержение социалистического строя через протаскивание чужеродного смысла в традиционные понятия русского языка. И как только поднялись руки над головами, которые стали амбивалентными в наш век в отличие от других частей тела, Четверган вскочил со стула, забился в угол, судорога искадила его рот, он тыкал пальцем в президиум ученого совета, и страшный утробный крик стал протяжно вылетать из его разинутого рта: "Ааа! ааа! ааа!" Сначала в зале заседания воцарилось замешательство, но потом секретарь ученого совета позвонил в психиатрическую клинику, и за Четверганом приехала психовозка с санитарями. А когда он вышел из больницы, на стене висел приказ о его увольнении в виду неадекватного отношения к амбивалентным понятиям. Амбивалентный смех очень быстро отзвучал. Кончились лекции Четвергана, где он проводил аллюзивную линию между юродством времен раскола и партийным съездом после смерти Сталина. Он так и не оправился после больницы. Ведь когда он во время заседания ученого совета кафедры вдруг вскочил со своего места и, забывшись в угол, нутряным мужицким, вызывающим краску стыда голосом стал издавать протяжный бессмысленный крик, не крик, а клик, тыкая двумя пальцами, расставлен-

ными рогаткой, в президиум, через полчаса этого бесчинства были вызваны санитары, и они связали его в настоящую смирительную рубашку, потому что он выкрикивал и царапался и что-то кричал про "немотствующие инвокации". После больницы ему везде мерещились санитары в белых халатах, и когда он клеил открытки у себя в Копьевском, он то и дело поглядывал в окно и побаивался всякого случайного автомобильного урчания на улице. Когда с ним действительно случилось несчастье, которое он вначале не осознал, как несчастье, она была единственной, кто выполнял всю грудку мелких мучительных поручений, без которых в таком состоянии можно погибнуть, как погибают от случайного укола в палец. Пока он был в больнице, она была единственной, кто добивался там свиданий, носил ему сигареты, отправлял неотправленные открытки. И она же принесла ему в больницу черный свитер, когда она почувствовала, что он мерзнет в палате. И как ни странно, он этот свитер принял и одел его. Более того, он довез его до Иерусалима, и когда наступила зима, он надевал именно его, хотя он давно обтрепался и стал распускаться по краям рукавов и горлышка.

4

"так и не поехала. Может, из-за этого сегодня и произошел весьма неприятный инцидент, то есть ничего не произошло, вполне случайное совпадение, но на меня это неприятно подействовало, и еще раз напомнило, что все может произойти, и что наша встреча может перенестись в вечность, поскольку я, в один прекрасный момент, как ты говоришь, могу отбыть в совершенно обратном к тебе направлении. Я сейчас немного поостыла, сижу в твоём кресле, которое я переставила прямо к окну, сварила себе кофе в турочке без ручки, пью его в одиночестве и гляжу на ворон, которые сейчас кружат над трубами резинового завода, и это значит, что солнце скоро закатится с другой стороны дома, потому что вороны слетаются на ночевку. Или галки. Никогда не знала, какая разница, то есть, как их отличить, галок от ворон, они вроде кричат по-разному, то есть вороны вроде каркают, а галки кричат. Вчера пробовала китайский жасминовый чай, который

ты прислал, и большей дряни я на свете никогда не глотала: настоящий разогретый одеколон, а столько было торжественности, и все твои друзья четверганисты соревновались в преданности ритуалу, и обвиняли друг друга в том, что чайник перекипел, и что это уже не белый ключ, а настоящий заварной кипяток, и что в результате пойдут дубильные вещества, но кто-то сказал, что доводить кипение воды лишь до белого ключа — эта точка зрения разоблачена как шарлатанская. Это Ваня сказал. На что ему было отвечено, что был бы здесь Четверган, он тебе бы ответил. А Четвергана нет. Но ты можешь быть спокоен: все твои десять чайных заповедей соблюдаются по крайней мере в том смысле, что если кто-то их нарушает, на него сразу набрасываются с проклятиями и грозят остракизмом. А чайник для заварки прокалывать на огне, поворачивая его боками, дном и крышкой, рук при этом не обжигая, так прокалывать чайник для заварки умею только я, хотя никогда не понимала, ты уж меня извини, всех этих законодательных ритуалов, кроме, конечно, жарения колбасы без капли масла; вчера я этим и занималась и считаю, что достигла в этой отрасли кулинарной промышленности небывалых трусовых успехов, то есть все кружочки жира выпадают один за другим, и в результате получается изящный телефонный диск, а не колбаса, то есть то, что ты и завещал всем последующим поколениям. Кстати, можно ли у вас там достать колбасу? Тут ходят слухи, что у вас не бывает копченой колбасы, правда ли это? И вообще, написал бы ты нормальное бытовое письмо, а то я действительно перестаю понимать, что там с тобой происходит, а твои теперешние письма — это, конечно, шедевр эпистолярного жанра, и предмет всеобщих дискуссий, но совершенно непонятно, на что ты живешь, где питаешься и спишь? Правда ли, что Тамаев получил три миллиона и триста тысяч на фильм, выписал из Америки знаменитую кинозвезду, и Бен-Гурион предоставил ему для съемок личный самолет? Но я этим слухам не верю, просто потому что вчера рассматривала на карте впервые в жизни твое новое государство и пришла к выводу, что при таких размерах нет никакой нужды в личном самолете, потому что от одного конца Москвы до

другого можно и пешком пройти, если, конечно, поднаться. Я, правда, забыла, что ты не можешь жить в тишине одиночества: тебе обязательно должен кто-то мешать, кому можно противоречить, например, Тамаев.

Ладно, я не буду тебя мучить конкретными вопросами, тем более, что ты в своих последних письмах пишешь про меня приподнято в третьем лице в смысле нас и вас и космоса, так что может тебе теперь не слишком важна моя конкретная жизнь, мои конкретные вопросы тем более. И вообще твои письма ко мне, это, скорее, письма ко всей Москве, что, впрочем, было и всегда. Хорошо бы еще и мне проникнуться этой идеей самоостранения. В результате чтения всех твоих писем я, по-моему, раздвоилась в глазах окружающих: я как я, с которой пьют, беседуют, исповедуются, поскольку считают меня заместителем тебя, и я, как некая Она, к которой просто эти письма адресованы. Но я в собственных глазах воспринимаю себя вполне непосредственно, и этот ОНАнизм, прости за каламбур, меня не очень чтобы удовлетворяет. Хотя, чувствую, вы меня скоро все воспитае. Тем более, некоторые сдвиги в этом направлении уже налицо: вчера за китайским чаем я продемонстрировала твои последние три письма полугодовой давности, и пока их читали вслух, я поймала себя на том, что в какой-то полной отключке слушаю про себя, как будто про кого-то еще, и смеялась вместе со всеми, забыв, что ведь это про меня. Я надеюсь, что у тебя изгладился мой плачущий образ, и учти, что я никогда не плачу, я настолько затабуировала все то, что вызывает у меня слезы, что, мне кажется, я начинаю забывать, как ты уезжал, и вообще, что тебя нет. Вот именно: я забываю, что тебя нет. То есть тебя нет сейчас, но через час ты позвонишь, я пожарю тебе колбасы и сварю кофе. И в результате я начинаю забывать, причем именно детали, мелочи, именно самое важное, те детали, без которых невозможно вспомнить самое важное, о чем я себе не позволяю вспоминать все это время, чтобы не заплакать, потому что если я позволю себе заплакать, то уже не смогу остановиться никогда. И меня вдруг охватывает страх, что, забывая эти мелочи, я забываю все окончательно, бог мой, так можно все

на свете забыть и никогда не вспомнить, как будто ничего и не было, и вспоминать я тоже не могу. Так что же делать? Конечно, я знаю твой ответ, но ты идеализируешь ситуацию. Ты прекрасно понимаешь, что отъезд — это твоя идея, а не моя, и мне с этой идеей делать совершенно нечего, и я готова была ради тебя на все, но только не на то, к чему я совершенно сбоку припека. Я опять, наверное, не то говорю. Но ты выдумал какое-то противопоставление из Москвы и Иерусалима, а жизнь на деле гораздо проще и невыносимее, и бессмысленнее, и скучнее, и беспощаднее.

Так вот, ты просил присылать всякую ерунду: то, что сегодня случилось, началось прямо с утра. То есть, все не так, и все раздражало. Вот тебе приятно там на Рабиновиче 33 вообразить, что мы тут все вместе только и делаем, что пьем кофе в гостинице "Москва", и каждый день все четыре недели сплошные дни рождения; а ты не видел меня, когда я с утра, в набитом до отказа автобусе, когда еще темно на улице и изморозь жуткая, еду в лабораторию. И ты, наверное, уже забыл, представляя себе жизнь в сени российских пенатов и розовых закатов, каково мне видеть рожи моих сотрудниц над колбами и пробирками: я вхожу, а они на меня смотрят. И не думай, что смотрят, как на врага народа, нет, они на меня смотрят, как будто я у них что-то украла, как будто это у них должен быть бывший любовник за границей и присылать им эти джинсы и джерси. Впрочем, джерси теперь уже не модно, но джинсы все еще хорошо идут, и вот я в джинсах, а они в москвошвеевских юбках, и они мне простить этого не могут. Впрочем, чего я тебе все это излагаю, ты это сам прекрасно знаешь, но ты никогда в жизни не отсиживал ежедневно часы в учреждении, у тебя всегда было свободное расписание. Я специально для тебя переписала, какие они ведут разговоры, может, ты вставишь куда, ты уже большой специалист вставлять что куда, в нужное место и всегда некстати. Только, пожалуйста, не вздумай пересылать это письмо обратно в Москву, потому что ты имеешь обыкновение делать из меня дуру, а там ведь не поймут, что это я застенографировала разговор своих сотрудниц. У нас сейчас на этаже делают ремонт, и в результате всех

переместили в одну большую комнату, духота страшная, толкучка, на этой неделе кто-то опрокинул бутылку с серной кислотой на бухгалтерскую ведомость, теперь неизвестно, что будет с зарплатой. А бухгалтерша, Фауста Моисеевна, и в ус не дует, так что мне теперь придется, наверное, сдавать в ломбард бабушкины часы, если ты, конечно, чего-нибудь не пришлешь. Так вот, начинается все обычно с того, что кто-то возвращается из буфета:

"Чего это вы ватрушку жуеете? Неужто у нас сегодня в буфете ватрушки дают?" спрашивает кадровичка, Владлена Лениновна. "И луком от вас, Фауста Моисеевна, что-то несет. Неужто в нашем буфетике сегодня дают зеленый салатик?"

"А мне, Фауста Моисеевна, врач запретил всякую химию. Вот морковку, или свеклу там — три и ешь, три себе и ешь на здоровье. С морковкой, правда, временный дефицит. Мы, женщины, от быта однако не освобождены".

"А я, когда захочу, тогда и ем: чего себя насиловать. Если у меня организм крахмалу требует — значит организм такой, я его и ем, крахмал. И насчет бытовой загруженности, есть такое замечание: пожарьте себе быстренько котлетки — и глядите телевизор. Ну, конечно, мясо повернуть. Так ведь это же зарядка. Врачи теперь рекомендуют трусцу".

"А я себе трусы в "Детском мире" покупаю. Это и дешево и мужчине нравится".

"Это потому что вы на особой диете, вот вам и можно в "Детский мир" за трусами шастать. А я в питании себе не отказываю, если организм требует. Вчера углядела себе на платьице — такая сирень, такая сирень, знаете, ну прямо как ваше летнее".

"У нас, конечно, нет таких заграничностей, как у некоторых", сказала Владлена Лениновна и поглядела на меня. И все они повернулись и уставились своими рожками в шестимесячной завивке. У меня из рук выпала колба с сероводородом для эксперимента. В результате вонь была страшная, но они все сидят, как ни в чем не бывало, только дышат через рот. Только эта Фауста вдруг спрашивает Владлену Лениновну:

"Сколько, Владленочка Лениновна, до конца?"

"Счастливые бухгалтеры часов не наблюдают, как сказал Пушкин", отрезала Владленочка. Господи, я уже на шестой странице и все никак не кончу. То есть все никак не доберусь до сути дела, как будто я все тебе пересказываю на кухне за кофе. Не стоит ли тебе послать кофе, потому что здесь все утверждают, что, в отличие от чая, кофе на Западе стоит бешеные деньги, правда ли это, что, впрочем, неважно, я просто хочу вытянуть из тебя побольше бытовых подробностей. А все эти разговоры на работе пересказываю, чтобы тебе стало понятно, в какой обстановке я там нахожусь, я сегодня не нашла даже уголка, чтобы приткнуться и прочесть твое письмо, которое вытащила из ящика, когда выходила из дома.

Я вообще себе места не находила весь день. Вышла с работы, солнышко, и снег уже весь растаял, а на мне было зимнее пальто, знаешь, старое, черное с башлыком, я его и так ненавижу, а тут еще солнышко припекает, и я чувствую себя как колхозник в тулупе в Москве за продуктами в середине лета, короче, я чувствовала себя жутко потерянной, и конверт с твоим письмом измялся, пока я его то и дело вынимала из сумочки, всякий раз, когда мне казалось, что вот тут присяду и прочту, и все появлялись какие-то типы, а мне хотелось это письмо прочесть в нормальном состоянии, а не когда кто-то толкает тебя под локоть. В результате все маршруты перепутала, и вместо того, чтобы выпить кофе в "Москве", в кафетерии, а потом сесть в метро, поглелась почему-то на Неглинную. Потом стала есть пирожки жаренные с мясом на углу, рядом с "Дружбой". Сначала один съела, потом поняла, что жутко голодная, и взяла еще один, потому что они там, как всегда, горячие и хрустящие, и хотя с моей печенью, ты знаешь, решила как Владлена Лениновна, "если у меня организм крахмалу требует, я его и ем, крахмал". В результате я съела четыре пирожка, и, естественно, вспомнила твои указания, про то, что "жареный пирожок, он предназначен служить стимулом, чтоб его, после съедения, запить соком". Я ведь все твои пищевые табу помню наизусть, как будто твоя память раздвоилась, и один экземпляр засушили мне в черепную коробку. Я все помню с нашей первой

встречи, а все, что было до тебя, и все, что случилось в ночь твоего отъезда, все время ускользает. Но все, что я помню за все наши с тобой семь лет, все это, когда вспомнишь, какое-то прекрасное нагромождение несусветной ерунды. Мы же в городе в первый раз и встретились на этом углу рядом с "Дружкой", и я как дура сказала, что я голодная, и еще, как дура, упомянула насчет того, что можно зайти в шашлычную и съесть купаты. И тогда ты и закатил монолог насчет пищевых табу, сказав, что купаты это отвратительнее, чем селедка, и что ты никогда их есть не будешь, потому что ты не ешь ничего, чего однажды уже не попробовал. Потом ты приплел ни к селу, ни к городу, холодец, который ты упорно называл студнем и сказал, что эти дрожащие тела символизируют собой партийное руководство, и так же глупы, как ношение перчаток: курить в них нельзя, а чтобы газету развернуть, их нужно стягивать, путаясь как цирковой клоун. Когда же я робко предложила остановиться на сосисках, ты заявил, что это исключено, поскольку в столовых дают вареные сосиски, а правильный человек вареную сосиску в рот не возьмет, сосиску надо есть сырой, и брать ее руками, а не вилок, и вообще регулярно есть вредно, потому что растягивается желудок и трудно перекинуться обратно на нормальный голодный режим, и что правильный человек, он схватит по паре пирожков с мясом, а потом рванет стакан соку, поскольку "жареный пирожок, он предназначен служить стимулом, чтоб его после съедения запивали соком". Я тогда в первый раз была напугана твоей категоричностью, мне это все показалось странным, и даже несколько раздражающим, но потом я поняла, что при такой беспорядочной жизни, которую ты ведешь, тебе обязательно нужно выдумать некие сакраментальные табу и тотемы, чтобы вообще не разлететься на поворотах. Где ты, кстати, стираешь белье, и кто тебе штопает носки? Впрочем, ты ведь за цельность и всегда провозглашал, что если душа в дырах, нечего штопать носки. Хотя я забыла, что у вас все одноразового пользования: поносят и выкидывают. Или это не так? Чтобы "рвануть чего-нибудь запить" я направилась на другую сторону в "Соки-воды", но там было закрыто на ремонт: наверху, в редак-

ции журнала "Театр" произошло наводнение и залило все "Соки-воды" сверху донизу и директор закрыл магазин, чтобы под это дело списать побольше консервных банок. Зато я заглянула в магазин географических карт и там на витрине, из карты мира, следует, что Иерусалим прямо перпендикулярно под Москвой, как наша дача. Чего я тебе все это пишу? Ты, конечно, волен наказывать меня презреньем, но только, пожалуйста, не цитируй это письмо в своих почтовых отправлениях в Москву, ты имеешь такую привычку. Ты же не знаешь, как я перед тобой дрожала, и каждое слово мне казалось сакраментальным, все, что ты нес про сосиски и перчатки. И только потом, когда я уже перестала воспринимать это как экзотику, до меня дошло, что в этих тотемах и табу есть высокий смысл, потому что без них почему-то нет никакого разговора, а только сплошная толкучка в автобусе и тетки в химических колбах. Ты вообще все как-то умеешь объяснять, а я ничего объяснить не могу, и мне с тобой было все понятно, а без тебя мне ничего непонятно, и я не могу утром подняться с постели, просто потому что не могу одна пить кофе, я ведь привыкла, что утром за кофе ты объяснишь всю ерунду, что произошла вчера, так, что это будет не ерунда, а как будто загадочная история. У меня вообще сейчас, когда я сижу в твоём кресле, такое впечатление, что у тебя всегда сначала была идея, а потом ты под нее подбирал факты, и вообще сначала придумывал слова, а потом действовал так, чтобы это не входило в противоречие. И, по-моему, все было в порядке с таким образом жизни, когда ты был здесь, а там, наверное, так нельзя жить, или это не так? Но я сейчас ничем не могу тебе помочь, потому что единственное, что я могла делать, это уметь смотреть тебе в глаза, чтобы помочь тебе найти в моих глазах отражение ответа на тот вопрос, который ты задал сам себе.

У меня даже горло пересохло, но "Соки-воды" были закрыты, и я решила зайти в "Дружку", но даже не только потому, что "Соки-воды" были закрыты, а потому что однажды ты про это заведение рассказывал и назвал его "трактиром с грязнотцой", и если раньше я просто проходила мимо этого заведения, то после этого мне стало казаться,

что в этом заведении есть нечто увлекательно-сермяжное и достоевское, а на самом деле просто освещенное твоим касанием, не говоря уже о том, что кажется здесь тебе разбили голову при загадочных обстоятельствах? Почему ты мне об этом никогда не рассказывал, у тебя был жуткий вид тогда, волосы слиплись от крови, что там произошло? Для меня это заведение, видно, так и останется заколдованным местом, потому что и сегодня во внутрь я так и не проникла. Это все в ходе невезения в этот день. Только я толкнула эту стеклянную дверь, я эти двери ненавижу, потому что никогда непонятно, то ли ты ее толкаешь, то ли она тебя трахнет сзади по затылку, только я толкнула ее плечом, на меня с двух ступенек свалился жуткий тип, рожа как будто кипятком обварена и в куцавейке. Или, может, родимое пятно через все лицо, или это с войны, но даже глаз не видно, невозможно разобрать, слепой или просто глазки под кожей. И прямо на меня наступает. Я влево и он влево. Я вправо и он вправо. Я хотела его обойти, но он мне вход загородил и сказал: "Дай гривенник". Я стала рыться в сумочке, но гривенника у меня не оказалось, и я дала ему двадцать копеек. Он двугривенный взял, я хотела пройти, но он снова загородил дорогу, и сказал: "Я же гривенник просил, дай гривенник". Я сказала, что у меня нет гривенника, а он говорит: "Двугривенный дала, а гривенника жалко?" Я сказала, что не понимаю, что ему от меня надо, и хотела пройти, но он все время загораживал дорогу, и, как назло, никто больше не входил в это заведение, как будто я одна туда стремилась попасть, а вокруг никого нет, хотя толпы народа идут мимо, а обратиться не к кому, не буду же я звать милиционера, и мне ничего не оставалось, как просто повернуться и тащиться дальше с пересохшим горлом".

* * *

Четверган снова подъехал к окну и с нелепой надеждой поднял жалюзи, надеясь увидеть четыре ступеньки заведения "Дружба": не пасынок ли здешних окаемов ослеп от прободения вещей? Пейзаж за окном если и напоминал Москву, то исключительно своим сходством с жареным пирожком.

Каждый сам выбирает себе окно, из которого он смотрит. Более того, каждый сам выбирает себе то, что он видит, чего ищет глазами и где становится слепым. За окном сияла тишина: и за то время, пока, сидя в кухне напротив кошачьей физиономии, он вспоминал детективную киножизнь на Рабиновиче 33, небо за окном дома на улице Таити еще больше побелело раздутое зноем. Как будто стерли ластиком, и в некоторых местах жесткая стареющая резинка прорвала бумагу. Как будто раньше на ней было сырое небо в тучах, и вороны с галками кричали на закате, кружа над трубами резинового завода напротив через речку, где, если перейти через Кузнецкий мост, где вечные французы, откуда моды к нам, и авторы и музы — губители карманов и сердец, то можно подойти к заведению "Дружба", а на углу продаются жареные пирожки, которые нечем запить. Картина была, а потом стерли ластиком. Остались рваные очертания, проступил фон — контуры мечети в ослепшем от солнца воздухе, жесть скалы; все можно было угадать лишь по контурам, которые становились видимыми лишь при мгновенном перемещении воздуха, когда луч искажался пыльной взвесью и на мгновение обозначал тенью контур плоского предмета. Все молчало теперь за окнами, молчал муэдзин, и спираль звука больше не вонзалась в ухо; и когда Четверган чуть высунулся и заглянул вниз, он увидел, что слепой сосед, профессиональный нищий и скандалист, тоже замолк. Он сидел внизу, склонив голову с черной нашлепкой ермолки на выбритом шаре головы, покрытый пылью, похожий на грудку щебня. Все, что осталось от только что прочитанной московской картинки. Каждое поколение рисует свою картинку на этом выжженном листе ватмана, а потом стирает ее собственными руками, продирая бумагу, чтобы потом снова чертить и драть острым пером. И все-таки что-то менялось, и наслаивалось, и расщеплялось, и приклеивалось, но с опозданием, и предметы здесь появлялись на твоём горизонте, и люди тоже появлялись, как будто закинутые вместе с письмом, разговором о них там, появлялись с опозданием, на время дохождения письма из Москвы в Иерусалим. И этот слепой нищий — лишь выпавший из московского письма

урод со ступенек "Дружбы", но только испещренный почтовыми штампами. Тонкие вихри песка стали куриться вокруг сидящей груды мяса и костей, и эти маленькие вихри указывали на начало ветра, направление которого пока оставалось неизвестным. Но небо по краям надулось. Возможно, что все наоборот, что это лишь переводная картинка, нет, пленка с картинкой, сквозь нее что-то просвечивает, она наклеена давно, уголки стали отставать, надо потянуть за уголок, и под ней окажется другая страна, улица, город и век. Он стал читать дальше старое письмо:

"и только отошла, вдруг слышу за спиной опять: "дай гривенник". Я оглянулась, и вижу, что этот, не то слепой, не то просто побродяжка, все стоит на ступеньках и говорит в пустоту "дай гривенник", то есть, ни у кого не просит, или одновременно у всех, или как будто к невидимому прохожему обращается. Это значит, что он вовсе не у меня просил гривенник, а вообще. И это я сама как бы напросилась ответить на его попрошайничество в никуда, просто так случилось, что посчитала, что это он ко мне обращается, а на самом деле, он, может, у самого себя гривенник просит. Мне в тот момент показалось, что я уже с этим однажды сталкивалась; и, когда я проходила мимо твоего переулка, обогнув аполонову четверку на крыше Большого театра, до меня дошло, что ты всегда вел себя очень сходно с этим побродяжкой на ступеньках "Дружбы". У тебя всегда была некая идеологическая мания, ни к кому не привязанная, но страдал от этого каждый, кто привязывался к тебе, потому что у него было впечатление, что ты именно к нему обращаешься, а ты в воздух обращался. Ты всегда смотрел на меня как будто сбоку, я всегда глядела на тебя чуть снизу вверх. И мне всегда было жутко трудно преодолеть эту невидимую оболочку, какое-то сопротивление воздуха, как будто кругом ураган, стена вихря, а ты внутри, и даже волосы у тебя на голове не шевелятся. Ты всегда был для меня как любимый иностранный язык: я все твои слова должна была всегда сверять по словарю, потому что никогда не была уверена в их значении. Ты для меня всегда был любимой другой страной, и вот сейчас, когда действительно переехал в другую

страну, откуда не возвращаются, откуда нет гостей, я как будто спокойнее могу все это тебе объяснить, потому что теперь понимаю, на каком я свете, а раньше я просто не понимала, какое у меня гражданство, и где я прописана. А сейчас нас как будто уравнили в гражданских правах. И сегодня я проходила мимо бывшего посольства твоей державы. Обогнула аполонову четверку, и вошла в Копьевский переулок, и с дрожью в коленках вошла во двор под арку.

Ты знаешь, по улицам тоже не очень походишь, потому что все время оказываюсь на улицах, где мы с тобой все время проходили, и снова получается так, что я живу не своей жизнью, а какой-то половинчатой, то есть наполовину воспоминаниями, которые не здесь; ведь моя вторая половина, то есть ты, находится вне. Вот я проходила по Камергерскому переулку, когда шла к телеграфу-почтамту, черт меня дернул задрать голову, и я поглядела снова на барельеф пловца над входом в Художественный, и вспомнила, как мы в первую нашу встречу проходили здесь, и ты мне показал этого каменного пловца, и сказал: "Куда ж нам плыть?" Почему я всю жизнь без тебя проходила здесь сорок тысяч раз и ни разу не обратила внимание? А у тебя сразу все на улице играло одновременно: ты еще показал на театральную афишу с "На дне" Горького и сказал: "Дядя без племянников — не дядя. В отличие от других мыслей, эта мысль Горького мне кажется своевременной". До меня только когда ты получил вызов, из Иерусалима, по которому выходило — что ты племянник, после твоего отъезда все это дошло: и про пловца и про дядю, но даже когда я не понимала, на что ты намекаешь, все казалось страшно значительным, а сейчас я в эту большую весеннюю погоду вспоминала все это как звон рюмок на поминках: и слышать невозможно, и чокнуться нельзя отказаться. В тот раз, когда мы проходили по этому переулку, и ты мне рассказывал про то, что в этом доме в прошлом веке собиралось "общество Любомудров" по четвергам под предводительством Одоевского, а его комната была набита склянками, банками, книгами, рукописями, ступки, реторты, и еще к тому же скелет настоящий с голым

черепом и надписью "осмеливайся познавать" и ты сказал, что если бы не декабристы, которые в конце концов разбудили сионистов, то не было бы никакого отъезда, любомудры остались бы на своем месте и продолжали бы осмеливаться познавать, а не бежать сломя голову, правильно я все пересказываю? и когда я потом вошла впервые в твою комнату, у меня мелькнула мысль, что ты живешь на самом деле цитатами из чужой жизни или чужих книг, все время забывая о себе; вот ты не понял, почему я тогда заплакала, в тот раз: а мне вдруг стало очень жалко, но как всегда не тебя, а себя, потому что я вдруг поняла, что никогда моя жизнь не станет для тебя цитатой, по которой ты живешь. Зато моя жизнь превратилась в цитату из твоих писем, которые я таскаю в сумочке.

А погода была все та же, как и четыре года назад, и снег тоже по краешкам ступенек, такой хрупкий, с весенней корочкой, но все-таки можно слепить снежок, только нет окна, куда его можно запулить, чтобы предупредить тебя, что я стою внизу. Вот ты, наверное, не помнишь, как я однажды ворвалась к тебе ночью, это было четыре года назад, когда ты лежал почти в обмороке. Так как ты всегда настаиваешь на том, что у тебя обмороков не бывает, ты должен помнить, что у тебя тогда брюки разъехались по шву, ты в полубреду раза четыре объяснял, ты нагнулся в метро за упавшим пятком, а голова у тебя кружилась, и поэтому ты не нагнулся, а присел на корточки, и у тебя брюки разъехались сзади. Понимаешь, это может быть было в первый и последний раз, когда я почувствовала, что ты без меня не можешь обойтись, что ты мой, целиком, безоружный, что вовсе не значит, что ты сдался, но ты был совершенно свой и ничей, не такой как обычно, когда у тебя в голове идея, как будто пропеллер, который несет тебя над всеми и мимо всех, то есть мимо меня в первую очередь; или же когда ты выпендриваешься и изгиляешься (господи, от кого я понабралась таких слов? от тебя же!), чтобы завоевать взгляд очередного собеседника. Кстати, в ту ночь у тебя в логовище сидел твой главный лучший враг, я уж не знаю, каким прозвищем называть Тутова в письмах, пусть читают, ведь он теперь

там; он как всегда сидел и скорбно вздыхал, вместо того, чтобы позвонить мне, еще кому-нибудь, в скорую помощь, наконец, самому принести лекарства, которые ты, правда, в рот не берешь, но хотя бы еды принести. Как он там? все считает свои звезды, мучаясь от того, что все они не у него на лацкане пиджака заместо орденов? Все так же ли Тутов ходит за тобой с козлиным свитком и записывает все, чего ты не говорил? Я, конечно, желчная женщина, скажешь ты, но не могу я вынести воспоминания от его бесконечных жалоб на то, что он не может никого по-настоящему полюбить, потому что всякая любовь на свете кончается, а когда чего начинать вообще, и, если он никого не любит, почему его никто не полюбит, бескорыстно, то есть, когда сам он никого на свете не любит. Но, видимо, тебя он все-таки любит, если ты предпочел меня ему, ну хорошо, не предпочел; но в результате, ты с ним, а я без тебя. И только в ту ночь ты был со мной, может быть, просто потому, что у тебя уже не было сил охмурять его, как ты обычно делаешь, сразу же забывая обо мне, и откуда у тебя берется остроумие, если за четыре минуты до этого, когда мы были одни, ты хмуро расхаживал по комнате и клеил свои бумажки. Может, это просто женская ревность, ради бога не вчитывайся особенно во всю чушь, которую я сейчас несу, вооружившись шариковой авторучкой, я просто очень давно тебе не писала, а письма — наши единственные постельные отношения. И потом он сейчас, наверное, единственный человек, который может тебе физически помогать, если Тамаев действительно уедет в свою Америку, хотя от него всегда было мало проку с его кино. Только, пожалуйста, не показывай это письмо им обоим, ты же знаешь, как я выгляжу в их глазах, они из меня сделали легенду, а тут выяснится, что я базарная женщина. Но ведь это я в этой эпистолярной склоке стала такая откровенная; ты же знаешь, что я всегда была лишь твоя слушательница, вовсе даже не собеседница. И если мы когда-нибудь снова встретимся, ты увидишь, что, несмотря на все мое эпистолярное нахальство, я тут же превращусь в ту, кем я всегда была: в дисциплинированную слушательницу твоих лекций.

Я ведь тебя по-настоящему впервые увидела на кафедре, когда ты стал меня затаскивать на свои лекции, а я сидела в первом ряду, и еще мне приходилось задира́ть подбородок, потому что стулья первого ряда были слишком близко придвинуты, а так как ты говорил своей нутряной скороговоркой, а я сидела жутко близко, мне казалось, что ты это мне все объясняешь; и в результате, потом, уже через сколько там лет, все равно, когда ты начинал свои монологи, у меня подбородок вверх тянулся, всегда я слушала тебя снизу вверх. И ты был такой непонятный, и еще этот обтрепанный пиджак, разве таким может быть профессор по смеховой культуре древней Руси? просто общипанный журавль, или наоборот воробей, у которого вытянули шею. Я ж тебя таким и увидела в первый раз: мороз, а ты в этом кургузом пиджаке и вешалка торчит из-за воротника. Понимаешь, у меня было такое чувство, что если тебе не помочь — весь мир рухнет. И нес ты нечто несусветное, так что аудитория сидела, раскрыв рот, и хлопала ушами, там была одновременно мешанина из рассуждений про язык хеттов, и вавилонские таблички, и ты Вавилон стал сравнивать с почтовыми марками, потом перескочил на восстание декабристов, и у меня было такое впечатление, что это только я понимаю, на что ты намекаешь, когда ты вдруг сказал, что если бы было обнаружено письмо русского монарха к юродивому Никите Пустосвяту, это бы перевернуло наши представления об отношениях Иеремии с Навуходоносором, причем ты так и произнес: на-В-ухо-донос-ор, и я вдруг захохотала, как идиотка. Ведь в тот год все письма подписывали в высшие инстанции в защиту идеи амбивалентности. Что такое, кстати, палимпсест? и еще: розетский камень? И ты вдруг остановился и поглядел на меня, причем, естественно, невозможно понять при твоём полутораглазом взгляде на кого ты смотришь, но ты в этот момент совершенно точно на меня поглядел, потому что вдруг подмигнул одним глазом, и мне показалось, что на меня уставилась вся аудитория, и мне пришлось выйти. На следующий день, я, как дура, сидя у себя в лаборатории над химическими колбами, сварганила то, первое, к тебе письмо, и во время четвертой лекции, когда передавали

записки с вопросами, я передала с задних рядов это письмо и я помню, как ты открыл конверт, стал читать, потом сдвинул очки на лоб, покраснел, и, пожалуйста не отрицай, я видела, как ты покраснел, потом стал искать своим близоруким косоглазым взглядом меня, и пока твои глаза блуждали по аудитории, твои руки рвали мое письмо на мелкие кусочки. Я в тот момент тебя ненавидела, особенно когда ты потянул меня за локоть, завел за колонну, и уставившись на меня с твоей иронической нахальной улыбкой, вдруг зашептал: "Я порвал твоё письмо, потому что оно слишком откровенное: души доверчивой признанье. И так как с этого дня я начинаю выстраивать легенду о тебе в чужих глазах, я не заинтересован в свидетельствах, эту легенду опровергающих. Если ты хочешь стать тем, кем я тебя хочу сделать, ты прежде всего должна избавиться от впечатления, что все мужчины, с которыми ты знакома, должны всю жизнь либо вздыхать у твоих ног, либо награждать тебя синяками, а если ни то, ни другое, ты чувствуешь себя заброшенной". Мне это показалось тогда грубостью с твоей стороны, но главное, претенциозностью, если бы не интонация, с которой ты это произнес: как чужую цитату. Ты все время выгораживал себя, точнее увивал, или лучше сказать, скрывал собственную беспомощность за чужими словами и цитатами: то есть, если кто-нибудь осмеливался усомниться в качестве твоих изречений, ты всегда мог с ироничной ухмылкой заметить походя, что это, собственно, не твои слова, а очередного Никиты Пустосвята. И как бы мы с тобой ни были близки, всякий раз, когда ты что-нибудь говорил, я не в твои слова вслушивалась, а все время пыталась отгадать, откуда очередная цитата, которая у тебя на языке, а если даже цитата была заезженная и мне наизусть знакомая, все равно, я не в тебя вслушивалась, а в то, что тебе пришло в голову, в связи с тем что произошло, когда ты вспомнил эту цитату, которая к происходящему между нами отношения не имеет, а имеет в виду нечто, что ты вспомнил в связи с нашим разговором. То есть, ты никогда не отвечал мне: ты отвечал тому, что ты вспомнил, когда я обратилась к тебе. И в результате я до самого последнего времени вовсе не с тобой разговари-

вала, а с твоим невидимым конкурентом в споре.

Ты не представляешь, а сейчас, сидя там, грустя о сумрачной России под небом Африки своей, тем более не можешь себе вообразить, какая это была пытка для меня, для женщины, все время чувствовать, что в постели я не одна с тобой: как будто рядом, над подушкой, уселся третий, твой двойник, и подглядывает за нами, подглядывает за мной, и как будто иронично и подло улыбается, как будто хочет сказать, что у меня с тобой ничего не получится. Ты вот не помнишь, как мне стало плохо, когда мы в первый раз легли в постель, то есть какое там легли — бухнулись в нее, я ведь все, в отличие от тебя, помню, и черт с ними, пусть эти цензоры на Главпочтамте все это читают, как ты никак не мог снять с меня платье, а я никак не могла расстегнуть твои штаны, а ты продолжал нести про то, что буква в арабской письменности меняет свою форму в зависимости от места в слове, и ты никак не мог найти сам понимаешь что, а я была страшно напряжена, я никак не могла расслабиться, у нас ничего не получалось, ты делал одно движение, а я делала совершенно противоположное, при этом я не понимала, что ты имеешь в виду, как будто ты от меня скрываешь самое важное, специально, чтобы продлить эту пытку, пока я не поняла, что должна все сделать сама, и как будто осталось на свете только то, что я держала в руках, и то, где это через секунду исчезнет, и мне хотелось, чтобы никогда больше не появилось снова, чтобы оставалось во мне, потому что в тот момент только я владею им, и все о нем знаю, и кроме меня об этом никто в этот момент не знает, но мне было жутко больно, как будто ты лишал меня невинности, и я не видела твоего лица, и не чувствовала собственных ног, а ты бормотал про то, какие у меня острые прекрасные коленки, я все ведь помню наизусть про арабский алфавит и коленки, как будто меня во сне гипнотизируют, и голос диктует слова, и я слышу собственный крик, и он растет совершенно безостановочно внутри меня, ты же не женщина, если бы хоть раз это ощутил, ты бы не уехал, как будто другое тело внутри тебя, и ты становишься этим другим существом, которое тебя заполняет целиком, и ты хочешь его от себя отделить

и не можешь, ты хочешь оторвать его с корнем, и никак не достаешь, оно доходит до горла и ты не можешь уже дышать, и не можешь остановиться, чтобы не отдавать его обратно, и вдруг как будто лопнуло все от горла до живота, и я подумала, что умираю, и я приоткрыла глаза, и тут увидела, что ты на меня смотришь пристально и косоглазо, и на губах у тебя эта улыбка, как будто ножички выдвинулись из уголков губ, такая наглая и изучающая ухмылка, и я так испугалась, потому что не узнала тебя, мне показалось, что это кто-то третий наклонился надо мной и следит, как я дрожу под тобой. И мне вдруг стало плохо, меня стало тошнить, ты еще дернулся за мной, но я заперлась в уборной, и меня рвало. Ты понимаешь, это третье лицо у меня все время было всегда перед глазами, и я к нему привыкла, и меня стала даже возбуждать эта любовь втроем. Эта нахальная ухмылка со стороны вела меня на новые подвиги, когда вдруг в середине наших упражнений, я вдруг видела ее как будто из окна. Почему, ты думаешь, я так любила заниматься этим самым в самых неподходящих обстоятельствах: в середине дня, на кухне, сидя на стуле, в ванной, разговаривая по телефону, почему я лезу тебе в штаны во время обеда вдруг, почему в кино, почему в автобусе, почему перед зеркалом я на тебе, ты подо мной, ты у меня между ног, я у тебя сзади, спереди и наперекрест и в хвост и в гриву? Может быть, ты меня возненавидишь после этого письма, но если уж я начала, я и кончу: у меня появилась с того первого раза настоящая мания следить за тем, как будет вести это третье лицо, этот второй человек, или я не знаю кто, который внутри тебя всегда глядит со стороны, и спрашивать про себя: а вот такое как тебе нравится? И тебе нравилось. Тебе вообще нравилось, когда другие совершали нечто непозволительное, в том смысле, что самому себе ты не мог позволить такие наглые выходы, но подначивал на них свое окружение, чтобы потом за это костить и осуждать и иронизировать. Только мне ты все прощал, и именно с этим я не могу смириться: почему ты мне никогда не сказал ни слова, а все как будто выжидал, что я сделаю дальше? И только в ту ночь, когда ты валялся в полубоморочном состоянии у себя в Копьевском, как в

подземелье, не мог поднять голову с подушки и бредил про чай и про соевые батончики, как ребенок, и жаловался на почки и на сердце, и дырку в брюках; и все как будто стало неважно, вдруг исчезло в твоих глазах это третье наблюдающее за мной лицо, у меня стали дрожать губы, когда я увидела, как у тебя трясутся руки, и я показала себе тогда такой ничтожной ищейкой, как будто выискивала доказательства твоей неверности.

Это ты научил меня так запутанно мыслить, я ведь просто хотела сказать, что вот я вошла в комнату, а там дым висел топором, я сначала подумала, что пожар, и все эти пирамиды газет, банок из-под чая, все это в дыму как будто валилось набок, я бросилась к твоей тахте, потому что увидела белое пятно твоего лица под яркой лампочкой, и просто хотела взвалить тебя на плечи, и только и думала: как же я тебя донесу до парадного? И тут вижу, напротив тебя, в уголке, примостился с бутылкой пива кто-то и улыбается твоей улыбкой сквозь дым. И мне действительно стало страшно: я решила, что ты своего добился, и твоя кинжальная улыбка в самые неподходящие моменты материализовалась. Я настолько испугалась, что просто отвернулась, и открыла окно, и высунулась, и когда дым рассеялся, я вижу, это Тутов сидит. Сидит и улыбается, как будто ему все это очень нравится. Вот опять соврала: он улыбался извинительно, но его улыбка была копией твоей, когда непонятно, ты издеваешься или сочувствуешь. Хотя это была не первая копия, а скорее вторая, даже не вторая, нет, четвертая копия, а как ты утверждаешь, четвертая копия не идентифицируется. И поэтому я не могу сказать, что это была твоя улыбка. Это была слепая копия твоей улыбки, ничего в ней не прочтешь, и ты знаешь, я его боюсь, ты это ему не сообщай, но я его всегда побаивалась, потому что он вовсе не из твоих четверганистов, и на самом деле, единственный, кого ты слушал серьезно. Мне сейчас кажется: если б не он, ты бы никогда не уехал. Главное, его безысходный тон, с которым он все это говорит, и из-за этой безысходности нечего возразить, он не оставляет ни одной уловки, в смысле — ни капли надежды. И получается, что если на что-то надеешься, выходишь наивной ду-

рочкой. Мне так хотелось схватить тебя и убежать от его прожженных глаз. И тогда только я поняла, что если кто-то может тебя спасти, то только я. И я знаю, что именно поэтому ты и уехал: у тебя не было другого способа избавиться от моего спасения. Может, это звучит высокопарно, но мне, как женщине необразованной, это извинительно, должен же был кто-нибудь тебе это сказать. Уж во всяком случае не Тутов: он тебя или боится, или осуждает.

Ведь в ту ночь, когда ты пришел немного в себя, и пошел умываться, он спросил или просто проговорил в воздух: "Что же с ним делать?" И это прозвучало на самом деле лишь вздохом: "Ничего не поделаешь". И это был твой вздох, когда ты умеешь этим вздохом отделять себя от несчастья: от чужого несчастья твоих близких; это было, точнее, эхо твоего вздоха, пародия твоего вздоха, и удивительно, как твои последователи, оруженосцы и эпигоны с такой быстротой передразнивают твои недостатки, не догадываясь о твоих достоинствах. Ведь когда ты отбояриваешься от чужих забот, ты цинично отворачиваешься, чтобы скрыть собственное бессилие чем-нибудь помочь, а твои соратники, оруженосцы и эпигоны возводят безразличие в принцип. Ты скажешь, что я просто ревную тебя к твоим друзьям, и это верно, но вот когда-нибудь наступит такой день, когда у тебя больше не будет слов, чтобы охмурять очередные слушающие глаза, и вот тогда они пойдут своим путем, цветя и здоровея телом, а ты будешь катиться дальше вниз. Ты же до сих пор не понял, что единственное, чем ты их всех привязал — это твои закрученные слова, которые ты расшвыривал, и от которых у них кружилась голова. И когда у тебя кончатся слова, а как им не кончиться, если ты от них ушел, вот тогда веревочка перетрется, и ты покатишься. Как ты не понимаешь, что хотя сейчас я и повторяю твои собственные сентенции, и хотя ты и научил меня трепаться по каждому поводу, но ведь только я, а не Тутов, и не все твои из-под пятницы четверги, любили тебя не за твои слова, а за то, я не знаю за что, возможно, это и делало тебя ловцом душ. И в ту ночь ты был бессловесный, ты понимаешь? Именно такого я тебя увидела в первый раз, именно такого искала всю жизнь; и я еще

путалась в этих бесконечных коридорах, ты же сам говорил, что твоя коммуналка в Копьевском — это бывшая ночлежка, но когда бросаешь снежок в окно, кажется, все в порядке, а потом, когда я шагнула в комнату, там было все занавешено, и тишина такая, как на дне: было так дымно, и так трудно дышать, и тени качались, и ты клеишь бессмысленно и бесконечно свои открытки, которые потом выбросят со старыми бумажками, и мне захотелось в ноженьки склониться, чтобы поверить в очарованность свою, как будто я дом перепутала, улицу, город и век. Кто ты такой и откуда ты? Я смешная женщина, задаю идиотские вопросы; может, сейчас ты обсуждаешь меня с Тамаевым с такой же легкостью и бесконечностью, с какой Тутов рассуждал о тебе, как-то глубокомысленно и фривольно: "Понимаете, Нина, он же старушку убил", сказал он со своей печальной категоричностью. Это звучало так нелепо, что меня прежде всего удивило, почему он ко мне обращается на Вы, удивило в который раз, он иногда переходил на ты, но у него ничего не получалось, неясно почему. Неважно: главное, я даже не смогла ничего ответить на эту его "старушку". А он сидел и развивал свою мысль: "Видите ли, Нина, у него же проблемы преступления и наказания. Я имею в виду старушку не в прямом смысле, а старуху-процентщицу как судьбу. В смысле: заплатишь ты судьбе. Понимаете, Нина, у него все в голове, он всегда жил головой, и на него часто находит". Я очень хорошо помню эти его "понимаете, Нина, на него находит". И чем дальше он говорил, тем больше на него находило, и тем меньше у меня было уверенности, что говорит он о тебе. "Понимаете, Нина, он запутался в собственном прошлом, он слишком закрутил все и во всем слишком закрутился, и он теперь чувствует себя соучастником всего, что произошло в России", опять Россия! "и так как он жил всегда головой, а вся Россия на крови, то значит и он на крови, а так как он всегда жил головой, для него не существует разницы между мыслью и действием. И если Россия на крови, а он — Россия, то чтобы не было лицемерия, он должен совершить преступление: убить старушку-процентщицу. Но эта старушка — его судьба, он должен, следовательно, убить свою судьбу,

бу, иначе лицемерие, иначе есть разница между тем, что есть, и тем, что должно быть. Чтобы все было, как есть на самом деле. Только для него убить свою судьбу — значит покончить самоубийством или уехать. Или вот так вот лежать без движения, понимаете, Нина?" Я ничего не понимала, а глядела мимо его глаз, на твой столик, за которым ты клеишь открытки, там стояла тарелка, в тарелке лежала пивная пробка и отражалось его лицо, и получалось так, что пивная пробка приходилась как раз на отражение его губ, как будто во рту у него встала поперек пивная пробка, и я думала: когда он заткнется и даст мне увезти тебя из этого капкана? Чего я ему тогда ответила, я не помню, почему я не помню собственных слов? и только завернула тебе на шее шарф, ты был как будто прозрачный.

И в такси ты держал меня за руку, ты никогда до этого не осмеливался на такие неприятные проявления близости. Ты же никогда не разрешал мне взять тебя под руку на улице. Ты придумывал бог знает какие объяснения: что у нас разная походка, и поэтому, когда идешь под руку, это затрудняет совместное движение вперед, потом выдумал что-то про то, что ты все время переключиваешь сигарету из левой руки в правую, когда куришь, а если идти под руку, это будет стеснять твою свободу переключивания сигареты из руки в руку. Но тогда, в такси, ты же взял мою руку в свою, и даже дал мне засунуть руку в твой карман, и ты положил мне голову на плечо. И еще один раз, в кино, когда мы глядели "Андрея Рублева", в тот момент, когда там поднимаются на воздушном шаре, ты тоже не шевельнулся, когда я добралась до твоего кармана, и я чувствовала, что ты меня чувствуешь, и ты сам засунул руку в карман моего пальто, и дело дошло до того, что кроме этой сцены запускания воздушного шара, я ничего не помню. Почему в кино можно, а при белом свете ты не давал взять себя под руку? Это лицемерие. Если ты стесняешься прохожих, то ведь они вообще не знают, женаты мы или нет, а женатые люди всегда ходят под руку в качестве супругов. Если ты боишься встретить знакомых, то откуда они знают: может, мы идем в театр? В прошлом веке вообще брали друг друга под руку, если не

ехали в карете, а сейчас, если идут в театр, то даже, например, совсем малознакомые мужчина и женщина берут друг друга под руку, это просто правило вежливости. Но у нас всегда все так выходило, что я как будто делаю что-то неприличное, а чего тут неприличного? Именно на людях мне хочется тебя держать под руку, чтобы все видели, что я иду с тобой, а не просто оказалась случайно рядом. Но у тебя какое-то извращенное представление о приличиях. И вообще, тебе ничего нельзя сказать прямо, а обязательно через какие-то экивоки. Целоваться с тобой сплошное мучение. Вот когда мы целовались в первый раз в автомате, ты не дал поцеловать тебя в губы, но я губами добралась до уха, ты же не будешь отрицать, что позволил поцеловать тебя в ухо в телефоне-автомате, а поцелуй в ухо можно считать гораздо более неприличным поступком, чем просто взять под руку, почему же ты вырываешь свою руку из моей, когда мы идем по улице, как будто я целую тебя в ухо? У тебя всегда была увливающая непоследовательность в голове с задними мыслями: если можно взяться за одно место, почему нельзя целовать в другое? На самом деле, это и закончилось твоей непобедимой логикой отъезда: "даже если я не прав, она не имеет права придерживаться своей правоты, потому что если бы она меня любила, я был бы прав в любом случае, потому что всему, что она знает о правоте, она научилась от меня". Как будто дело в правоте, как будто дело в преданности. Ведь ты всегда проверял меня на преданность. Как будто есть на свете еще что-то, что мне не известно и к чему я должна готовиться, а если не выдержу экзамен на преданность, то никогда этого не узнаю. Ты все время относился ко мне как к некому увлекательному эксперименту, и все время поглядывал со стороны: удалась я или не удалась? Ты все время ставил самого себя в тупик, чтобы начать биться головой об стенку, чтобы я услышала этот стук, чтобы от этого несчастья проснулась, а мне ведь достаточно было лишь этой вот жизни с тобой, мне ведь некуда было стучаться, кроме как в твое сердце, мне некуда было взлетать, чтобы проверять, что, взлетев, ударишься головой о потолок. Во мне все начала и концы, и я знала, что ты не можешь быть

другим, но ты заверчен своими счетами, и единственное, на что ты был не способен, это просто взять меня за руку и согласиться, что нет выхода из безвыходного положения. Почему у меня из головы не выходит эта нервотрепка? Потому что сейчас именно такая ситуация и продолжается только в новом виде и на другом расстоянии.

Я всегда пыталась преодолеть это расстояние. Сейчас так получается, что я тебя всегда соблазняла, соблазнила, а потом предала, и теперь ты как будто в ссылке, а я к тебе отказываюсь приехать на свидание. Но ведь ты же хочешь увидеть на самом деле не меня, какой я стала, и какая я есть, и какой на самом деле была; ты хочешь увидеть ту, которую ты видел со своей точки зрения, ту, которую ты хотел видеть, и именно это не давало мне успокоиться ни на секунду, именно поэтому я всегда пыталась добраться до крайней точки, и все время пыталась снять с тебя очередное твое второе лицо, с ироничной экзаменаторской ухмылкой. Именно этот второй ты и выискивал во мне подтверждения и гарантии моей преданности, а вовсе не ты настоящий, который, может быть, больше не существует. Я все время подозревала, что ты подозреваешь, что я подозреваю. Застегнутых пуговиц оставалось все меньше, вопросов все больше. Ты понимаешь? ты помнишь, что это я тебя всегда раздевала, а не ты меня, ты всегда делал вид, что ничего не происходит? Почему ты думаешь, мне стало плохо тогда, в первый раз, почему у нас ничего не получалось? У меня была одна мысль: если мне дают расстегнуть верхнюю пуговицу и не дают расстегнуть нижнюю, значит мне не доверяют без представления гарантий. Естественно, у меня выходила в результате сплошная глупость, мельтешение и непоследовательность. И вот тогда я и написала это дурацкое письмо и передала его на лекции, и ты, конечно, как всегда, поступая в своем духе, порвал его на мелкие кусочки. Ты ужасный тиран, ты все выворачиваешь так, что я выхожу виноватой, и сейчас все происходит то же самое: ты не даешь о себе забыть, зная, что это ты должен приехать, ты должен вернуться, и я не боюсь это сказать; после того как ты всех бросил, ты понимаешь, что мой приезд бессмыслен, что все у нас

начнется сначала, а это невозможно, но именно этого ты хочешь: сначала и каждый раз с конца повторять невозможное. Ведь только однажды, когда в ту ночь я везла тебя в такси к себе домой, на Пугачевскую, ты был тем, кем ты всегда боялся быть: в тот раз ты не отгораживался от меня собственными идеями о том, кем мы должны быть, и где и когда, причем эти твои "кем, где и когда" не имели никогда никакого отношения к нам. И, может быть, из-за того, что я помню ту ночь, и тебя в ту ночь, и твое светлое лицо, и совсем не прищуренный взгляд, из-за этого я не могу уснуть по ночам, не могу успокоиться и все время требую твоего возвращения. Узнаю ли я того тебя сейчас? Когда наши тени качались на потолке, без всякого небесного знаменья, и ты целовал мои обветренные руки, и я так хотела от тебя ребенка в ту ночь. Ты знаешь, что, наверное, только ребенок нас бы примирил: он был бы и твой и мой, и мы бы перестали бы думать и терзать друг друга тем, кто кого должен спасать? Ты в ту ночь сказал, что все, что не произошло, не произошло потому, что мы недостаточно хотим этого, и что если по-настоящему желать чего-нибудь, то всегда найдется некто здесь или там, кто сделает такой подарок, потому что ведь некому на самом деле дарить подарки, потому что никто по-настоящему ничего не хочет. Нельзя как-нибудь устроить мне ребенка по почте?

У меня от тебя ничего скоро не останется, кроме писем, а в один прекрасный момент я и этого лишусь. Ты знаешь. Но ты уже забыл, как видно, так вот я тебе напомним это ощущение. Собственно говоря, я из-за этого и стала писать тебе письмо. Постояв перед твоим бывшим окном, так и не решившись кинуть в него снежок, вышла из арки и свернула к Центральному телеграфу, хоть открытку тебе отправить "нарочным-экспресс", хотя в ней ничего срочного нет, но чтобы со смыслом закончить день. Понимаешь, мне на самом деле некуда деться, потому что когда я возвращаюсь домой и вижу твое кресло, я сразу начинаю вспоминать то, что вспоминать нельзя, иначе жить невозможно, и вот я после работы все время таскаюсь по улицам, и даже открытки стала писать чаще, чтобы чаще попадать на Центральный телеграф или на

Главпочтамт, я их всегда путаю, такой ритуал: в окошечко отдавать открытку, и они там все сами приклеивают "нарочным-экспресс". Когда я присела у газетных стендов напротив ступенек телеграфа, я и решила в конце концов прочесть письмо, которое с утра носила в сумочке. Письмо все измялось, а твоя стандартная марка с Мертвым морем вообще отодралась. Я сразу поняла, что это веселое письмо, и было так странно сидеть на улице Горького напротив кафе-мороженого "Космос" и "Российских вин" и читать твои белые листочки про то, как вы ругались с Тамаевым на Мертвом море, и тут вдруг к письму через плечо протянулась рука. Ты можешь себе представить, что со мной было, когда у меня за спиной пророкотало: "Можно поинтересоваться?" Мне и так все время кажется, что за мной все время следят, что в лифте меня подстерегают, что с работы хотят выгнать, и вот когда я услышала этот ласковый басок, я решила, что все, теперь припишут пропаганду и распространение, и вообще ты больше не получишь моих писем, а твои письма не дойдут туда, где сосна до звезды достает, а письма не доходят. Я, не поворачиваясь, сжала письмо в кулак, и, сама себя не слыша, сказала: "Это мое личное письмо". Я сказала наверное, таким тоном, что рука сразу убралась. Я повернулась, чтобы показать конверт в доказательство, правда, без марки, но марку я бы могла отыскать в сумочке для доказательства. Поворачиваюсь, и кого бы ты думал я вижу? Когда он сказал, что просто устроился работать на телеграфе, письма сортировать, и поэтому случайно столкнулся здесь со мной, когда выходил с работы, я несколько успокоилась, но когда я повернулась с конвертом в руках бледная от страха и вдруг увидела — кого бы ты ду—"

Как всегда, на самом интересном месте концы в воду. Там недаром установили мощный телескоп. Я всегда говорил, что родина слышит, родина знает, где в облаках Четверган пролетает. И я помню, чья рука протянулась через нинино плечо к четвергановскому письму. А он ничего не помнил. Строчить строчи, да знай, где ключи. Четверган подъехал на кресле на колесиках к окну, поближе к свету, и заглянул во внутрь конверта, чтобы разглядеть, есть ли там цензурный

номер или нет, как на остальных московских конвертах. Вот что его интересовало во всем этом нагромождении из любви, слез и ненависти: есть цензурный номер или нет. Но внутри конверта не просматривались выдвленные магические цифры. Более того, на конверте не было даже марки. На конверте стоял герб посольства. Посольства в Вене. Он мне показывал год назад это письмо, его провезла одна французенка по особому каналу под юбкой через границу, а потом отправила через посольство в Вене. Я помню, как Четверган с гордостью продемонстрировал мне это письмо с посольским гербом вместо марки: какие у нас, мол, дипломатические связи. "Не у нас, а у тебя", сказал тогда я ему. Это у него были такие закрученные связи всегда, а я всегда шел стороной, как всякий грум череды, но именно я страдал от его закрученной жизни, и даже по нининому письму выходило так, что из-за меня они расстались. То есть каждый, кому не лень, выбирал жертву для того, чтобы не согласиться с тем, что виновата во всей неустроенности наша солнечная система, а вовсе не я, не ты, и не он, но я, ты, он. Я оказался замешанным в выяснении чужих счетов. Был бы не я, она обвинила бы кого-нибудь еще, но обязательно надо было конкретно тыкнуть пальцем. Когда он мне девять месяцев назад показал это письмо, сказав, что вот, мол, какие письма надо получать, вот, мол, какую эпистолярную жизнь надо вести, когда я прочел, я сразу и сказал: "Научил на свою голову". Я же помню, как все мы отошли в сторону, и только с ней он говорил, и только ей все объяснял, только с ней в конце концов встречался, и даже перестал появляться в кафетерии при гостинице "Москва". В тот период, когда я, однажды возвращаясь из обсерватории, заглянул туда, вижу, они все стоят, точнее кружат под колоннами гостиницы, каждый вытягивает шею, а мороз под тридцать, пар идет из-под копыт, из каждого горла, как из паровоза. И каждый друг у друга спрашивает: "Я сюда случайно забежал: Четверган не появлялся?" И я к этому ожиданию не имел никогда никакого отношения, и то, что она сказала про мою, как будто въедливую улыбку, вовсе не справедливо. Это же ясно, сразу становилось ясно, если бы она видела, как меня все

обступили тогда, когда в тот период я появился в "Москве". Обступили так, как будто случайно каждый из них оказался рядом со мной, и когда каждый, как бы невзначай, проговорил как бы небрежным тоном, набрав воздуха: "Кстати, мне Четверган ничего не передавал?"— этот вопрос вышел хормом, как по команде приветствие командиру, когда командира не оказалось, и, гаркнув хором в пустоту, они все смутились, и, переглянувшись, отвернулись. И я к этому хору не имел отношения, я даже кофе тогда пить не стал, а пошел обратно в свою обсерваторию. Но в этой войне всепрощения во имя Четвергана не простят никому, кто был между Ниной и Четверганом. Я знаю, за что она меня невзлюбила, но я не сказал этого Четвергану ни тогда, когда он мне показал письмо, не скажу и сейчас. Я только сказал ему: "Научил на свою голову". И в ту ночь, про которую она писала в письме, когда мы трое очутились у него в комнате в Копьевском переулке, и он лежал в полубморочном состоянии, я вовсе не говорил про преступление и наказание, про Россию и старушку-процентщицу. Это было совсем в другой раз, и Четверган при этом разговоре не присутствовал. Я тогда лишь сказал, что просто у него умерла внутри одна идея движения, а другая идея другого направления еще не возникла, и поэтому он и лежит без движения, и что же теперь с ним будет, спросил я. И если кто-то и виновен в его отъезде, то никак не я. Они оба не понимали, что у них закончился роман, и больше ничего. И они разъехались в разные стороны. Она напоила его своим телом, а он ее своими словами. Они оба утолили жажду, и разошлись, и ушли от этого источника, забыв, что источников было два, и по крайней мере две составные части. И когда они разъехались в разные стороны, оказалось, что вокруг сплошная синайская пустыня, и можно лишь прикинуть губами к горячему песку, но слова гордого отныне не смеет вымолвить язык. И теперь они занимаются эпистолярным садо-мазохизмом, в уме воображая всю ту же комнату, где жил один вавилонский язык, и не было разделения на хеттское и аккадское наречия, и она ему приписывает его же собственные возражения, сказанные ей, обвиняя его в том, в чем он не решался обвинить ее. Они делают шкуру

неубитого первобытного первочеловека, у которого еще не вырезали ребро. У них остался один язык, одна пленительная страсть, вода и камень, лед и пламень, ведь он вдохнул в нее слова, и остался без дыхания. Он думал, что уйдя к неведомым пределам и жизнь станет словами, потому что отношения перейдут в письма. Но он не понял, когда уходил, точнее не знал, что слова берутся из воздуха, а на другой планете такая атмосфера, что выжигает не только губы, но и язык. И для слова нужен вдох и выдох, а атмосфера выжигает легкие. И здесь лишь звезда Тамаева все выше будет подыматься. Тамаев ищет свою кинозвезду. Потому что он не знает, что такое слова, сказанные однажды, которые превратились в предметы, которым ты не знаешь названия. Тамаев все летит, а нас выбросили с парашютом, мы, конечно, приземлились на Марсе, но мы же не знаем марсианских хроник. Точнее, знаем, что мы там не записаны. И Четверган до сих пор воображает себя в Вене, на перепутье, и они оба нагромождают собственный архив на голову друг другу. Но только у Четвергана давно этот архив перепутан. Они не могут поделить собственного прошлого, и каждый с позиций собственной державы. Каждый из своего кресла. Только у Четвергана теперь чужое кресло на колесиках, а в его бывшем устойчивом кресле теперь сидит Нина. Ей хорошо вспоминать и нагромождать обвинения, а ему нужно разъезжать от одного клочка к другому; но вовсе не потому, что ему важно было найти ответ на нинину дипломатическую ноту четверганки. Он всегда уходил от ответа в некое конкретное гробокопательство. Заглянула бы эта пугачевская комета на его небо-склон, поглядела бы на его небритое побелевшее лицо, когда, прищурившись, он подносил к свету, бывшему из окна, голубенький конверт, чтобы высмотреть изнутри выдавленные цензурные номера. Эта комета осталась без хвоста.

Словами любви можно оживить каменную статую, но есть и другая история: когда человек от слов каменеет. Небо стало как будто пепельным, и вокруг холма с мечетью на вершине возникло желтоватое облако, размывавшее края и холма и мечети и слепого внизу, как будто размытая очертания своим присутствием, и солнце уже не било

вертикально, но просачивалось мутным сиянием сквозь отяжелевший воздух. Четверган опустил жалюзи и подъехал к листочкам, прикнопленным к стене. Они обвисли, как белые флаги капитуляции, и он стал пробегать по ним победенными глазами. Если повернуться к окну, будет слепое неговорящее небо, но за спиной будет стук и голоса и различные пугающие передвижения в тылу, а ты наедине с неговорящим небом. Если закрыть жалюзи и повернуть кресло на колесиках, ты оказываешься наедине с повисшими на кнопках словами, среди которых надо снова отыскивать свое место, которое давно занято, на фоне стука и голосов и передвижений на лестнице, на улице Таити, где негр Титти Митти и кто еще там с ним жил, никак не вспомнить. Четверган не понимал, с какого боку присоединить только что прочитанное письмо Нины к уже вывешенным листочкам. "18 июня прибыл также Шведский Король под именем графа Готландского". Кто же все-таки протянул руку через плечо, когда она сидела рядом с газетными стендами у ступенек Центрального телеграфа, а мимо все шло и ехало? Когда он мне все это пересказывал, это жуткое сидение в кресле, я сразу вспомнил, я сразу назвал фамилию, но у него в тот момент именно фамилия графа Готландского и вылетела из головы. Единственное, что его интересовало в нинином письме, как это письмо прикрепить к линии между космонавтом и креслом. "Предупредителем отпускаю тебя. Предупреди людей, иначе возьму тебя от них. Скажи им, что еще много у вас дел на планете. Опять забылись вы, а сколько страдали". Нет. Не то. "И пускай я все возьму на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе в комнату, он на нем немножко посидит, но скорее всего нет, потому что мы обязательно поставим его не туда, куда следует". Четверган думает, что, соединяя кнопками листочки, можно соединить жизнь, которая соединению не поддается. Что из слов появится она. А она из слова не появляется. Или слова не те, или же она другая. Вот рука из-за спины появляется, и чертит надпись на стене, которая ничего хорошего не сулит пирующим на этих поминках. Но однажды,

взявшись за эту кучу слов, перепутанных котом, ты начинаешь о них думать, а потом говорить вслух, а потом дальше искать то, что вслух высказано, Только вслух мы давно говорим сами с собой. Он вернулся в кресле на колесах к развороченным папкам и сейчас держал открытку, на которой собственным почерком было написано: "Тамаеву, улица Таити". На открытке была намалевана толстыми буквами цитата на фоне открыточной троицы ангелов, но Четвергану бросился в глаза снова почерк Нины шариковой авторучкой:

"Посылаю тебе открытку, которую ты в ту ночь с обмороком собирался отправить Тамаеву, но так и не отправил. Я сейчас ее нашла в ящике, ты теперь ее можешь передать ему из рук в руки. Я тебя коснуться не могу. Сажу в твоём кресле и считаю ворон". Дальше шла цитата, выписанная уже несколько лет назад Четверганом для Тамаева:

"КТО ПРИХОДИТ В ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО ИЛИ ОТШЕЛЬНИЧЕСКОЕ БРАТСТВО КАК ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ, ЖЕЛАЮЩИЙ ПЕРЕНЕСТЬ СЮДА ВЫГОДЫ И УДОБСТВА ПРЕЖНЕГО ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ИХ ДРУГИМИ, А НЕ КАК БЕГЛЕЦ, БРОСИВШИЙ ВСЕ, ЧТОБЫ ТОЛЬКО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО БЫЛО ПРИЧИНОЮ БЕГСТВА — ТОТ НЕ ВПОЛНЕ ОТШЕЛЬНИК, НЕ В СОВЕРШЕНСТВЕ ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ". Сбоку, более мелким почерком было приписано: "Это слова Филарета, митрополита Московского, с которым вечно сводил счета (неразборчиво), я выписал из Практического учебника русской грамматики Петрова как пример Относительного периода. Логическая сторона этого периода состоит в указании совместности или несовместности. Найди способ, не нарушая стиля, подтвердить получение открыток, особенно медленных, четырехкопеечных, память о которых стирается быстрее, чем они доходят". И даже было приклеено две марки: с бегущим сайгаком и каспийским осетром. Сверху опять крупными буквами было приписано "НЕ АВИА: если дойдет, то и так дойдет". Все это просматривалось через нинину шариковую авторучку: "Может, я и порчу открытку со злости, но мне так и не удалось перевезти ве-

щи на дачу: заказала машину, обошлось мне это в 20 рублей, потому что когда грузовик приехал, вещи были не собраны, и пришлось водителю заплатить 20 рублей просто так, а теперь, когда вещи вроде успею собрать, не на что заказать машину, потому что пропили все деньги в четверг с твоими четверганистами.

Логическая сторона этой жизни и состоит в совместности и несовместности".

А я помню один замечательный переезд Четвергана на дачу в направлении Нового Иерусалима. Но там проблема была не с чемоданами, а где достать грузовик. Переездом распоряжался как всегда Налитухин — не то его тень, не то телохранитель. Он, главное, всегда распоряжался, когда дело пахло выпивкой. А какие переезды не пахнут выпивкой? Он считал себя большим докой по части добывания левых машин. И Налитухин, как ни странно, на этот раз не надул. Пока они шатались по соседним улицам, махая рукой вслед проносившимся машинам с кузовом, Налитухин выбегает из-за угла мебельного магазина на Петровке и машет рукой призывно. Стоит действительно фургон. Водитель, бело-брысый такой, похожий на мальчика с чубчиком, говорит: "Мы вот только подбросим тут одного старика с тахтой на Дзержинку и с удовольствием на вашу дачу за десятку махну".

Подкатили фургон к парадному, быстро загрузили чемоданы и семью, Налитухин, конечно, забрался в кабину к водителю руководить маршрутом. Когда Четверган влез в фургон, водитель, стоя в проеме задней дверцы, сказал: "Будет слегка душновато, но открыть, к сожалению, ничего не могу для воздуха. Свет могу зажечь — для уюта".

И захлопнул за ним дверцу. И оказались они в душноватой полутьме. Потом вспыхнула лампочка и фургон тронулся. Напротив оказался действительно попутчик с тахтой из мебельного магазина, которого надо было выбросить на Дзержинке. Такая смолистая борода лет под пятьдесят без единого седого волоска, в зимней шапке, несмотря на

весну-лето. Он действительно сидит на своей тахте из мебельного магазина, обтянутой зеленым шелком, и думает свою думу, как будто не в фургоне, а в купеческой избе. И вообще похож на недорезанного из фильма о раскулачивании. В фургоне действительно душновато, и Четвергану это стало нечто напоминать. Седоки одинаково отклоняются на поворотах, а потом снова возвращаются в прежнее положение. Глаза Нины тревожно блестят в темноте. И лампочка так по-самиздатски тускло светится зарешетчатая, чтоб нельзя было разбить кулаком. А зачем ее, собственно, разбивать кулаком? Сосед-раскулаченный улыбается купцом первой гильдии на зеленой экспроприированной тахте и покуривает. Машину покачивает. Потом резкий тормоз. Купец первой гильдии выгрузил свою тахту, и на секунду в открытую дверь Четверган увидел родные московские залитые нейтральным солнцем улицы, и ему показалось, что он больше никогда не увидит ни эти улицы, ни это нейтральное солнце. Фургон, значит, наняли на Петровке, а этот, псевдокупец, высаживается на Дзержинке. Белобрысый водитель, захлопывая еще раз дверцу этого фургона, дверцу железную, пробурчал:

"Только чтоб на даче побыстрее сгружались. Мне тут по радио передали, чтоб я к четырем как штык был. А у нас с дисциплиной в секунду вышвырнут".

И Четверган не выдержал:

"Так вы "капитан" или просто из милиции?"

"Капитан не капитан", белобрысый расставил пальцы в воздухе. "Воронки это, не видишь, что ли? Из органов я шофер. Так что, будь другом, на даче побыстрее разгрузайся, мне в четыре как штык заключенных в Лефортово перевозить".

И он захлопнул дверцу. И машину снова качнуло. И лампочка под зарешетчатым колпачком снова тускло засветила. Нина испуганно поглядела на него и взяла его за руку. Они качались в воронке и гадали: это все такое совпадение, или это так задумано? И в какие ворота они в конце концов въедут: в дачные или в лубянские? С их точки зрения, изнутри, воронки мчался в неизвестном направлении.

5

Четверган, сидя в кресле на колесиках перед закрытым железными шторами окном, оттолкнулся ногами, чтобы подъехать к куче писем на полу в поисках графа Готландского, отказавшегося от его московского кресла. Но вместо ожидаемого классического отката кресло дернулось и застопорилось на месте, крутанув в бок. Четверган свесился и заглянул вниз, под колеса, в поисках неполадки, и обнаружил, что в правом колесике застряла бумажка: она, видно, сначала прилепилась к подшпиннику, а потом застряла в оси, на давая колесу вращаться. Четвергану пришлось перегнуться и с кряхтением выдирать застрявшую в колесе бумажку: и бумажку надо было вытащить в целости и сохранности, и колесико освободить для дальнейшего вращения. Расправленный и разглаженный на коленях клочок оказался вырезкой из журнала "Смехач" времен непосредственно революционных, хотя год был необдуманно обрезан ножницами. То есть, юмористическое на дешевой бумаге издание, возможно, и называлось "Смерть паразитам соцбыта", но сказать это с уверенностью уже невозможно, поскольку от заголовка после ножниц осталось лишь три буквы "Сме", а называлось ли оно "Смерч", "Смерть", или "Смердяков" было делом исторической интерпретации, но содержание все равно было сатирическое: заметка называлась "Громкая фамилия".

"Нам доставлена копия документа:

Пом. Коммерч. Ревизора М.Б.Б.

На ст. Новый Иерусалим в 14 ч.12 мин. я, пом. Нач. Военных Сообщений З.В.О. Каменев К. И. просил ДСП позвонить ДС Кемь и справиться о возможности прицепки вагона прямого следования к поезду Йошкар-Ола—Кемь—Москва, должествующему отправиться из Кемь через ст. Новый Иерусалим, так как поезд, с которым я следовал, запаздывал. ДСП вызвал Кемь, и к аппарату подошел Ревизор Движения. Я представился, назвав свою должность и фамилию, и просил справку о том, не ушел ли уже из Кемь поезд, и есть ли возможность прицепки к нему прямого вагона, добавив, что об этом же просят все пассажиры вагона, задержавшегося на станции Новый Иерусалим. Ревизор Движения ответил: хорошо, передам Начальнику ст., но прямого ответа не дал. Не дождавшись поезда на ст. Новый Иерусалим, я, вместе с другими пассажирами отцеп-

ленного вагона, вынужден был отправиться в Кемь. Прибыв в Кемь, обнаружилось, что тот поезд, который ожидался мной вместе с другими пассажирами на ст. Новый Иерусалим еще не ушел, и что моя просьба и особенно (что видно из Ваших слов) фамилия произвела неожиданное для меня действие: поезд был только потому и задержан на 120 минут, поскольку Начальник ст. решил, что я отправляюсь из Кеми, а вовсе не жду на ст. Новый Иерусалим. Так подействовала на Начальника ст. фамилия, указанная, по моей просьбе, Ревизором Движения. Просим порекомендовать агентам дороги обращать внимание на должности, а не на фамилии, а в случаях сомнений проверять точность путем обратного вызова, или же просить телеграфное или телефонное подтверждение у ДС тех ст., в которых происходит разговор.

При моем разговоре от ДСП ст. Новый Иерусалим с Ревизором Движения присутствовала гр. Петрова Нина Александровна (пассажирка), проживающая в гор. Москве, Преображенская пл.10.

Помощник Нач. Военных Сообщений З.В.О. Каменев.
16.VI. Н. Петрова

"Смехач" (ага, значит журнал все-таки называется именно "Смехач", отметил Четверган) как будто предчувствовал такую историю: в прошлом номере "Смехач" смеялся над улицей, по которой "все Каменевы живут и все Лев-Боисычи", в связи с разрешением именоваться фамилией любого революционного вождя, кроме Ильича. А теперь не до смеха. Вдруг да есть такая улица? Вдруг она скопом пожелает использовать фамильное преимущество? Все поезда останавливаются! Рекомендуем Ревизорам Движения научиться отличать настоящего Каменева от поддельных Троцких".

Четверган повернулся на колесиках к стене, где на кнопках висели окошки листочков. Непонятно, куда эту вырезку зачертачить: то ли к Хасану, который не перс, то ли к Шведскому королю под именем графа Готландского? Лучше быть не в моде, а вроде. Вариант: лучше быть не в моде, а в роде. Линия разлуки от рукопожатия в космосе до заместителя на кресло, оставшегося в Москве, не продвигалась ни на пядь. Четверган пробежал глазами юмористическую заметку из "Смехача", еще раз удивился странной железнодорожной линии Йошкар-Ола—Кемь—Новый Иерусалим—Москва, отметил про себя, что фамилию Тамаев он использовал как псевдоним в статьях про амбивалентный смех в период опричного террора, который уехал через Кемь в неизвестном направлении

нии. Да и сама фамилия Четверган для незнакомого уха звучала не как имя, но прежде всего как название некоего движения с неизвестным Ревизором. Все переименовалось на этих железных дорогах нашей жизни, и направления маршрутов перестали соответствовать проложенным не нами рельсам и шпалам, и колеса грохочут в висках, и в разных купе сидят сплошные псевдонимы из бывших Троцких и Каменевых. И не у кого попросить телеграфного подтверждения должности. Ревизор этого Движения неправильно информировал Начальника станции, и Станционный смотритель задержал поезд, и два звонка медовых, и грустный машинист отлучился в буфет. Как там он по фамилии? По фамилии Надежда. Грустный машинист по фамилии Надежда Бенгуринович Четверган. И нет свидетельств его присутствия на этом полустанке. Тамаев там. Тутов тут. И нет никого. Пришел Богдан, да ерша Бог дал. Пришел Иван, ерша поймал. Пришел Устин да ерша упустил. Пришел Спирия да ерша стырил. Разговор о рыбе получается. Надо любым способом доказать, что ты существуешь. Для этого надо найти свидетеля прошлой жизни, которая вся разметана и никак не соединяется:

"тобою? Мы так и недоклеив обои, распивали четвертую бутылку водки на троих, и пил как всегда больше всех твой бывший собутыльник, и разговор был, естественно, о тебе, то есть периодически, сквозь пьяные откровения, у меня выпрашивалась очередная деталь твоей частной жизни, о которой я на самом деле не имею ни малейшего понятия. То есть, мне кажется, что я все прекрасно себе представляю, потому что знаю тебя наизусть, но когда дело доходит до конкретного ответа на конкретный вопрос, я теряюсь и начинаю выдумывать про тебя бог знает что. Ты думаешь, легко себе представлять Мертвое море с котом, про которых ты обмолвился походя в одном письме, в каком не помню? Тем более от этого сумасошлатого вечера, клея, обоев и водки у меня и без того мозга набекрень. А НАЛИТУХИН РАЗВАЛИЛСЯ В ТВОЕМ КРЕСЛЕ И ОРАЛ ПЬЯНЫМ ГОЛОСОМ: "Я КОВАЛ ТЕБЯ ЖЕЛЕЗНЫМИ ПОДКОВАМИ. Я ПРОЛЕТКУ ТВОЮ ЛАКОМ ПОКРЫВАЛ", перечитывал Четверган, не веря своим глазам. Так это значит Налитухин

так успешно увивал из тупиков памяти, и пока Четверган в кресле на колесиках гонялся за проводами Тамаева, именно этот забытый Налитухин отказывался перетаскивать кресло в свое логово, но тем не менее именно Налитухин в этом кресле сидел, пьяным голосом наворачивал про пролетку и подковы? Развив бешеную скорость, Четверган рванул в кресле на колесиках к стене с приклепленными листочками и стал искать оборванный конец предыдущего письма. Надо было найти письмо, кончавшееся словами "где ты милый, что с" и соединить его с теперешним началом "тобою?" К черту Хасана с халвой, к черту Каменева с Троцким, хотя они тоже были по пути, они тоже были попутчиками, которые указывали путь вперед по отношению к самому себе, они тоже были верстовыми столбами, годами почтовыми, которые несли от корчмы до корчмы, и Ревизор Движения начинал путать фамилии. Но в такой момент, когда глаза нашли начало того, продолжение чего сейчас сжимали руки, эти верстовые столбы можно было забыть, потому что началась метель и они теперь не помогут. И вот что заново перечитывал тот глаз, который блуждал по стене, в то время как другой глаз косил на продолжение, боясь, чтобы это продолжение не вылетело из рук, не исчезло в куче сопоставлений:

"И пускай я все беру на себя: найду машину, доставлю кресло, подниму его по лестнице, и тогда, если он заглянет к себе в комнату, он, может быть, немножко на нем посидит, но скорее всего нет, потому что мы его обязательно поставим не туда, куда следует, а передвигать он его не будет, потому что это вообще моя акция. И вообще, сказал он, у него была одна вера на свете, что только русские девки не способны на предательство, а теперь он совсем атеист, поскольку его Маша — ну, помнишь, девица с выжженными глазами, жена-не-жена, она, в общем, вышла за кого-то подходящего замуж, чтобы двигаться в вашем направлении. Может, она уже у вас? Но ты ничего не пишешь, куда ты пропал? Где ты, милый? что с"

Боясь дыхнуть, Четверган осторожно отделил от стены этот кусочек письма, боясь зацепить другие, и с победной

улыбкой приставил последнюю строку этой страницы письма, к первой строке той прочитанной страницы, которую уже держал в руках. И слова "где ты, милый? что с" соединил со словами "тобою? Мы так и не доклеив обои, распивали четвертую бутылку водки". В этом и состояла для Четвергана космическая справедливость: отыскать и сопоставить. Чтобы после того, как перевернуты горы листочков, сорок тысяч посторонних мыслей возникли на ходу, после того, как уже казалось, что загадочное имя случайно и незаметно скользнувшее в нескольких строках мелкого почерка неизвестно зачем упомянуто, вдруг это имя выскакивает в таких масштабах, что своей тенью соединяет то, что казалось несоединимым. Два кусочка одного письма, которые, казалось, летели в разных метагалактиках и никогда не могли встретиться, вдруг соединились. И это казалось наградой и материализацией мыслей на расстоянии. Как будто встретились не две страницы письма, а два человека, которых вел к встрече гипноз мысли. Тем самым доказывая существование гипнотизера. Два лица, которые маячили на разных страницах письма, не узнавая друг друга, в этот момент соединились и оказались одним человеком по имени Налитухин. И подвиг состоял в том, что эта отгадка состоялась лишь в результате того, что на свете существует Четверган, который эту загадку хотел отгадать, и если бы его не было, не было бы ни загадки, ни отгадки. И только из-за того, что все произошло так, как произошло, и вышло правильно, хоть плач, хоть колотись, из-за того, что произошло назавтра и произойдет вчера, из-за того, что он оказался в этой жуткой пустой квартирке в кресле на колесиках, перед кучей писем, в этом несуществующем Иерусалиме с кучкой недогадывающихся о его загадке людей, которых высыпали на эти пустые холмы из разжатого кулака, и они продолжают катиться, об этом не догадываясь, из-за этого и не только из-за этого, но еще из-за того и поэтому и отчего, из-за этого всего все существует одновременно, и сейчас прошлое станет будущим, будущее будет в прошедшем, а настоящее растает в космосе, где его не хватает. Ревизор Вечного Движения перепутает все фамилии

и задержит все скорые поезда. И начнет происходить непрерывное наворачивание и заверчивание одного и того же вокруг все того же неуловимого четверкварка, существование которого состоит лишь в том, что вокруг него происходит непрерывное наворачивание и заверчивание. Он потому и луч, он потому и свет, что шепотом могуч, что лепетом согрет. Сейчас он завернет за угол. Сейчас он пройдет сквозь закрытую калитку в стене. Сейчас с ним произойдет то, что вам не снилось. Сейчас с ним будет то, что вам снилось. Сейчас он превратится в ваше несуществование. Куда вы еще не выпали, а он уже выпал, и поэтому уже не выпавший. Он уже нигде, повторяя самого себя в бесконечной репетиции возвращения к самому себе, и только вздрог в испуге ясности от наших ваших вместе с теми слов. Он потому и счастлив каждую секунду, потому что с ним начало происходить новое возвращение вперед, где каждый повторит его судьбу и ты повторишь чужую, и все, с чем ты сталкиваешься уже, освещено чужой своей твоей судьбой, и тебе надо сделать странное легкое усилие, чтобы вдруг все завертелось снова назад с вращением вперед, когда ты вдруг столкнулся в чужой жизни с тем, что считал неизвестным в своей собственной жизни, и тогда ты бросаешь самого себя и как в перевернутом бинокле сама судьба не разберет: ее ль безумие отражается линзой, или растет из обратной перспективы твое лицо. И чтобы это лицо не пропадало, требуется постоянно увеличивать фокусное расстояние. И когда произошло такое сопоставление двух листочков с разных концов света, Четверган утверждал свое бессмертие, потому что только он об этом сопоставлении знал, оно для него было разыграно и ни с кем другим не повторится. Произошло нечто, чего никто не способен изменить, и чего бы ОНИ ни делали, как бы тебя ни вывертывали, это к ним не имеет никакого отношения, они об этом НЕ ЗНАЮТ. Потому что ты единственный СВИДЕТЕЛЬ. И то, чему ты свидетель, существует только потому что, что ты тому свидетель. И если ты закроешь свет очей своих, это исчезнет. Поэтому и существует то, что существует только тогда, когда ты об этом думаешь. Поэтому для меня и существу-

ет тот Четверган, который думает о Налитухине. И для него существует Нина, о которой думает Четверган. Но как для Четвергана существует Нина, которая думает о Налитухине — это я принципиально отказываюсь понимать.

"А Налитухин развалился в твоём кресле и орал пьяным голосом: "я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал." Потом несколько протрезвел и сказал: "Раньше я верил, что только русские девки не способны на предательство, а теперь я совсем атеист". Оказывается, пока он был в отлучке, его Маша, жена-не-жена, ему изменила и бросила Шпагу его, и вышла замуж за человека вашего направления, и теперь, наверное, в районе Иерусалима. Он ее вытащил из канавы, говорил он, из грязи в князи, встретив ее на платформе города Кемь, он ковал ее железными подковами и пролетку ее лаком покрывал, сделал из нее лучшую девку кафе "Дружба", а пока он плавал в районе "Титаника", она ему показала хвост. "Через канифас-блок и на турачку" ругался он, и это ругательство он позаимствовал во время плавания с командой рыболовецкого траулера. Я ему не очень верю, но судя по его загару и щетине, он действительно где-то в похожем месте плавал, и говорит, что их рыболовецкий траулер налетел на айсберг в международных водах, и не просто в международных водах, а прямо на месте гибели "Титаника", и их отшвартовали в Ньюфаундленд, откуда сам создатель радиосвязи Маркони впервые установил беспроводную связь между Америкой и континентом. И стояли они на ремонте в Ньюфаундленде целый месяц, и вся команда шастала на берег, а он боялся, но потом все-таки решился и махнул тоже на берег ночью. Рассказывал он мне про это с обидой на себя, а почему я не поняла. Он говорит, что когда добрался до города, магазины уже были закрыты, и он в общем-то ничего там не увидел в этом городишке. Вывески, конечно, на иностранном языке, ну и что из того? Дождик шел, он погулял, покрутился, попал в магазин пишущих машинок, машинки все очень с красивым алфавитом, но не нашим алфавитом, а латинским. Единственное, что он мог напечатать: фразу "нас в космосе не хватает" заглавными латински-

ми буквами. Тем более на него подозрительно смотрели, когда он стоял над машинкой в рыболовецком брезенте, с которого вода капала. Короче, деваться ему там было некуда. Добрался он до городского сквера и посидел там на лавочке. Домики кругом аккуратные, не наши, и совсем не похожи на политическое убежище. В темноте полицейская машина проехала, как в иностранном детективе, с мигалкой и сиреной. Так он и не попросил политического убежища, а вернулся к себе в кубрик, или как там у них называется. Через канифас-блок и на турачку. Рассказывал он это все очень грустно и все удивлялся, как же ты это под дождем все сидишь в своем политическом убежище, а он вот не сумел. И я хоть и не слишком трезвая была, но когда вдруг на него взглянула как будто со стороны, он меня поразил жутким сходством с тобой, то есть просто сидишь ты, только с бытовщинкой ты, и глаза на месте. Хотя был настолько пьян, что глаза у него если не косили, как у тебя, то по крайней мере двоились, или у меня двоилось в глазах, и я вместо него видела тебя, или вас обоих сразу, как будто я с тобой говорю, и в тебе появилась его лихость и беспардонность, чего я раньше в тебе не замечала. Он сказал, что из-за этой самовольной отлучки на берег Ньюфаундленда за ним до сих пор дело тянется, а тут еще эта Маша-но-не-наша поставила под сомнение его веру в русских девок, и вообще нет на этой планете утешения. Я сказала, чтобы он не так быстро разливал по рюмкам, а то он не доберется обратно до дома и попадет в Ньюфаундленд через канифас-блок и на турачку. "Но ведь Четверган уехал, Машка сбежала, имею я право по этому поводу немножко выпить?", и он упал головой на стол. Я так и пошла спать, оставив его в твоём кресле в невменяемом состоянии. Вкладываю в конверт его письмо с рыболовного траулера, которое я получила на свой адрес полгода назад, и все не понимала, от кого это, а сейчас поняла и теперь отправляю. Пока".

Единственное, за что можно ругаться в этой истории про канифас-блок и на турачку, так это то, что Налитухина в оче-

редной раз откуда-то выгнали. Врал Налитухин всегда с подробностями и без знаков препинания, как беспроводный телеграф этого самого Маркони. Вранье началось с их первой встречи, и вранье занесло их в разные концы земного шара из того купе поезда дальнего следования, где они встретились. Поезд двигался не то из Кеми, не то из Йошкар-Олы, мимо станции Новый Иерусалим, и Четверган вскочил в него с дачной платформы, потому что был перерыв в расписании обычных электричек. Вагон оказался общим, и битком набит людьми, которые давно не просыпались, а проснувшись и увидев перед носом ноги соседа с противоположной полки, понимали, что это кошмарный сон, и спали дальше, то ли под стук вагонных колес, то ли под шлепанье карт и грохот чемоданов, которые задевали за головы вечных картежников этой жизни; и не было в этом вагоне ни дня, ни ночи, потому что сутки отмечались не восходом солнца, а входом в вагон, а концом дня, который мог оказаться кромешной тьмой, было схождение с поезда, и сутки эти были разными у каждого пассажира, и пока один колот вареное яйцо о верхнюю полку, обитатель этой качающейся постели завертывался в душную простыню сна, готовясь очутиться у себя дома по крайней мере в воображении. Четверган, оглушенный этой полной потерей времени, пробирался к противоположному тамбуру, чтобы постоять у окна и поглядеть через сигаретный дымок на убегающие заборы и набегающие заводы, когда вдруг резкий баритон окликнул пригласительно: "Колбасы хочешь?" и бутерброд в протянутой руке преградил ему дорогу. Четверган повернулся и увидел небритого человека с черешенками сверлящих глаз; человек протягивал ему бутерброд; освобождал место у себя в закутке под спящими ногами верхних полок. Предложение показалось тогда таким неожиданным, что Четверган присел напротив, и от бутерброда отказался, однако спросил: "А с какой стати ты решил, что я голоден?" Странно было то, что Четверган с Налитухиным сразу перешел на ты, хотя как раз в этом вопросе был щепетилен, фамильярничать со старшими не любил и чуждался всякого фанфаронства. Но было так странно, что из всей этой толкучки дальнего следования глаза Налитухина оста-

новились именно на Четвергане и именно ему предложили кусок хлеба с колбасой.

"У меня нюх на людей", сказал весело Налитухин. И сразу обиделся: "Значит брезгуешь? И напрасно: никаких венерических заболеваний". И как жонглер, выхватил откуда-то снизу бумажный стаканчик и уже совсем нелепую здесь бутылку шампанского. "Если откажешься от шампанского, выкину из окошка". И Налитухин, не дожидаясь ответа, запрокинул бутылку, и, отхлебнув из нее изрядный глоток, утерся тыльной стороной ладони, смахнул с губы налипший кусочек фольги с горлышка и без перехода спросил: "Как вы думаете, милостивый государь, похож ли я на шпиона?"

"Шпион — это амбивалентное понятие", сказал Четверган, глотая пузырьки шампанского, "поскольку для одной державы вы — герой, а для другой именно такой герой и есть самый главный шпион. Так что зависит от того, по какую сторону границы вы оказались",

"В районе ручья Безолаберного Магаданской области не существует государственных границ: там идет промывка золотых песков гидравлическим способом. А меня там за шпиона приняли", и он снова запрокинул бутылку шампанского, но оттуда уже ничего не текло. Не задумываясь, Налитухин выбросил пустую бутылку в окно, а другая рука уже доставала непочатую четвертинку водки. " У меня еще пол-ящика осталось. Нам на дорогу хватит. Ты откуда?"

"Я с дачи", сказал Четверган.

"А я из района ручья Безолаберного добираюсь. Не помню как выбрался. Поехал на прииски подзаработать, а меня там за шпиона приняли. Я туда три ящика водки вез, чтобы выгодно продать. Потому что в Сибири все закупают оптом. Там сразу ящик водки закупают, бутылки четыре сразу выпьют, а остальные бутылки разбрасывают, закрыв глаза. Разбрасывают прямо в снег, по сугробам, чтобы не найти и сразу все не выпить, чтобы не было белой горячки. Потому что если все не разбросать, все бутылки эти, то все сразу и выпьешь. И белая горячка. А все бутылки по сугробам разбросаны и не найдешь сразу, разве что весной, когда стает, и вдруг видишь, бутылка на лужайке лежит целехонькая.

Я этого способа не знал, до того как на ручье Безолаберном не побывал. Если бы знал, меня бы, может, из космического института не выгнали б", и он икнул. Его несло: "А, впрочем, плевать: какая разница здесь или там, Москва-река или ручей Безолаберный, я всегда себе бутылку найду".

Непонятно было, с какого моста свалился этот человек, но Четверган сразу почувствовал свою жилу. Из того нагромождения подробной лжи, где желание разжалобить собеседника плохо маскировало счастливое наплевательство, которое Четверган усек под стук колес в этом купейном закутке, выросал тот Налитухин, который был вывернутой овчинкой Четвергана. Налитухин оказался тем Четверганом, который презирал тех, кто жалуется, и который требовал от окружающих, чтобы терпели и шли в одиночку в свой последний и решительный бой. И Четвергану неважно было, врет ли Налитухин или нет. Такое вранье шло не в счет, если врет фальшивый человек. И если Четверган был человеком фальшивых слов, то Налитухин оказался человеком фальшивых поступков. При его невозмутимом наплевательстве на самого себя и весь мир ему так трудно было найти настоящие слова про собственное несчастье, которого он не осознавал, что он пускался на самые нелепые шаги и фальшивые поступки, чтобы в их шуме и треске заглушить смутную тревогу. Четвергану надо было наговорить кучу фальшивых слов, прежде чем сделать истинный шаг. Налитухин же должен был вывернуть себя наизнанку в ряду фиктивных авантюр, вывернуть наизнанку свою фальшивую подкладку: потому что иначе он никак не мог понять, где же начинаются те запреты правды и истины, которые нельзя нарушать. И поэтому с такой обидчивостью он воспринимал всякий намек на то, что в истинность его поступков не очень верят. Это были отчаянные попытки вруна избавиться от собственного вранья через обезьяньи прыжки. В первую же встречу на этом коротком перегоне поезда дальнего следования Четверган, предвкушая удовольствие от встречи с двойником, узнал, что Налитухин отправился на золотые прииски, поскольку не мог усидеть в Москве после того, как увидел планету Земля из кабины космического корабля.

"Не веришь?" кричал Налитухин, откупоривая следующую бутылку водки и проливая ее мимо бумажных стаканчиков, потому что поезд качало на стыках рельс. "Я тебе клянусь, что видел. В новогоднюю ночь. Не веришь?" И через пять минут выяснилось, что он, правда, видел, но не в качестве космонавта, а в качестве охранника в московском институте космических исследований. Никто, конечно, в новогоднюю ночь дежурить не согласился, а он, Налитухин, согласился, потому что куда ему идти в новогоднюю ночь, ему, у которого другая жизнь и иной напев? Вот он и остался дежурить. Вместе со стариком сторожем. Взяли бутылку спирта, литровую, и стали чокаться в полночь. И дочокались до того, что сторож под стол свалился, а Налитухин не свалился, потому что за столом никто у нас не лишний, а у советских собственная гордость. И он взял бутылку спирта и поперся прямо в испытательную лабораторию, поскольку все ключи у него были в распоряжении, и первым делом самолеты, ну а девушки потом. И все он сделал так, как партия велела: скафандр застегнул на все пуговицы и в полном обмундировании с бутылкой спирта забрался в лабораторную космическую кабину, герметически закупорился, спирт подал через трубку жидкого питания, и включил экран обзора на космической орбите. Поддача спирта шла исправно, внизу проплывали континенты, Америка проплыла, СССР проплыл, и он еще удивился: оказывается с космической точки зрения на территории Советского Союза этих четырех букв СССР не написано. Но и это его перестало удивлять, когда крутя различные рычаги Налитухин все дальше удалялся в космическое пространство и выдерживал различные перегрузки только за счет активной подачи спирта. Мы с железным конем все поля обойдем, и наша планета превращалась в зеленую, в сущности, точку, а он ковал ее железными подковами и пролетку свою лаком покрывал, и летел, ковыляя во мгле, и летел на последнем крыле, а потом шел на Одессу, а вышел к Херсону. И дальше он ничего не помнил, а когда очнулся от нашатырного спирта, то увидел перед собой немецкую овчарку. Овчарка понюхала его морду и отвернулась. Рядом с овчаркой стоял начальник охраны: поскольку каждый час

Налитухин, как охранник, был обязан извещать сигналом из проходной, что все, мол, в порядке, а он уже четвертый час летал в другой метagalactic, и поэтому был вызван специальный наряд органов безопасности с овчарками, и они его отыскали в космическом пространстве по запаху спирта.

Говорил он без умолку, все более надрывно и перебивая самого себя короткими куплетами, как будто себе под нос, но на самом деле в полный голос, и в этом закутке качающегося вагона стали просыпаться и свешиваться с полок, сначала бурча и ругаясь, но потом, как ни странно, вслушиваясь в его несусветные истории, с тем загипнотизированным интересом и смутной улыбкой, с которой глядят на человека, который стоит на карнизе и собирается броситься вниз, или как слушают интригующий скандал за стенкой, или читают чужое письмо. Шведский король под именем графа Готландского мчался за Ее Величеством, отбывшей в вожделенном здравии с известным Васгинтоном. Звенели колокольчики.

"Каков балаган? Но, одновременно, и прелесть риска" переспрашивал Налитухин самого себя надсадно. "А чего бояться? Я спрашиваю, чего бояться? Жизнь, сударь, дается бесплатно один раз, и съесть ее надо так, чтобы тебе заплатили еще и чаевые. И заплатят, как миленькие, заплатят", и очередная пустая четвертинка аккуратно закатывалась под лавку. Налитухинская разнузданность удивительным образом уживалась с внешней кошачьей пластичностью. "Ты вот, я вижу, с идеями", тыкал он Четвергану, "но ведь идей много, а я один. Я не против идей, но как только я ухвачусь за идею, сразу вижу ее ошибочность, а главное, без чаевых выгоняют: не ты на идее едешь, а она на тебе скачет, а жизнь, она — бесплатный проезд, чего же на идее ехать, тем более, если она в конце концов сама на тебя сядет? Если не этот попутный поезд подвернется, так другая попутная машина, правильно я говорю? Я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал", гудел Налитухин. "Как бы я иначе с ручья Безолаберного до Москвы добрался бы, если б не попутки? Все пути для нас открыты. Я живу подгребая, мой бог называется "авось". Никогда меня не обманывал. И чего люди мучаются? Нет, ты вот

скажи, отчего люди мучаются?" и сам себе отвечал: "Потому что боятся, что на обратную дорогу денег не хватит. Сначала заберутся к чертовой бабушке со своими идеями, а потом идея — фьють, улетела, а на обратную дорогу денег нет. И переживают. А ведь деньги — они на дороге валяются. Но идейный человек нагибаться не хочет: у него идея. А я за деньгами нагибаться не стесняюсь. Врт идет золотоискатель с получкой, в черном пиджаке как на праздник, а из кармана пачки сотенных. Я сам видел. Пьян в дупель, и бумажки раскидывает. А за ним толпа бичей. Бич — это тот золотоискатель, который уже получку получил, уже пропил не только получку, но и пиджак свой пропил праздничный, и теперь сам за другим золотоискателем, который при получке, ползет. А назавтра они местами поменяются. Но есть и такие", тут Налитухин нагнулся к Четвергану и подмигнул ему своим черешневым глазом, "которые всю жизнь в бичах: потому что всегда найдется такой дурак, который хочет быть золотоискателем, а потом деньгой швырять. А я и подобрал, не постеснялся. Я же не виноват, что меня оттуда выгнали".

Из несусветного его пересказа выходило так, что его тут же схватили за нос, как только он сошел с автобуса на остановке "Ручей Безолаберный". При всей нагловатой осведомленности и бывалости, выходило так, что терял и выходил обсчитанным и общипанным именно Налитухин. На прииски он отправился зашибать деньгу, но единственное, в чем он преуспел, так это, подделавшись под бича, выпросить у очередного гуляки-золотоискателя сотенных бумажек на обратную дорогу. Потому что как только он сошел с автобуса, представитель местных органов прииска "Ручей Безолаберный" тут же подскочил и тут же потребовал документ. Но Налитухин тоже не дурак. Налитухин бывалый человек. Налитухин ему сразу под нос справку. Он эту справку, как бывалый человек, заполучил через своего человека в одной центральной редакции, поскольку у него, Налитухина, везде свои люди. И свой человек в редакции подмахнул ему справку с редакционной печатью, где утверждалось, что Налитухин специальный корреспондент редакции. Правда, свой человек

сказал Налитухину, что справка на "крайний случай". Налитухин, конечно, бывалый человек, но если сразу паспорт отбирают, как не сунуть под нос справку на крайний случай? Кто же знал, что в паспорте должна быть печать на право въезда в район ручья Безолаберного Магаданской области? Никто этого не знал, даже Налитухин. Кто же знал, что на этом прииске пропадают полугодовые добычи золота вместе с транспортировочным катером, капитаном и всей командой, а нового человека воспринимают или как государственного контролера или как государственного шпиона. Когда местные органы увидели справку, у него сразу паспорт отобрали, а самого посадили в ленинскую комнату и никуда не выпускали. Налитухин сидел в запертой ленинской комнате и изучал стихи из газеты "Магаданская правда": "Пою я русских баб, тяжелых и дородных, рожающих детей, не психов, не уродов, а мужиков для дела и труда над тем, кто психует иногда". И еще про злостных неплательщиков: "Живут, надеясь на жилищный гуманный русский наш закон: за неуплату за границей давно бы вышвырнули вон". Тем временем губернский розыск рассылал телеграммы по беспроволочному телеграфу Маркони. Первым делом он слал телеграммы в редакцию: "Подтвердите фамилию собственного корреспондента. РОВД ручья Безолаберного". Хорошо еще, что запрашивали не по вертушке, и Налитухинский человек, подкупив секретаршу, эти телеграммы успешно перехватывал. Налитухин изучал магаданскую правду ленинской комнаты, пока его не вызвали местные органы, вернули паспорт и сказали, чтоб его духу здесь не было в двадцать четыре часа. Вот ему и пришлось податься в бичи на сутки, а когда набралось денег на приблизительный билет, и он уже стоял на автобусной остановке, некая тяжелая и дородная баба попросила его передать в Москву родственнице будильник: "В Москве трудно будильник достать", сказала она, и Налитухин сначала поверил и будильник взял за пазуху, но в автобусе, глядя на сопровождающие глаза сопровождающего лица на заднем сиденье, понял, что будильник этот — провокация, и видно внутри будильника — золото, чтобы арестовать его за незаконный провоз золота

из ручья Безолаберного. И в городской уборной Налитухин этот будильник долго разбирал и хотя ничего не нашел, кроме как подозрительного позолоченного молоточка, но будильник все-таки решил выбросить в мусорный бак, потому что странно было, что в Москве труднее достать будильник, чем в районе ручья Безолаберного.

"Чего улыбаешься?" подозрительно косился Налитухин, покачиваясь не в такт качанию вагона. "Ты думаешь, я струхнул? Ты еще не знаешь, какой я в душе Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. Вот погляди!" заорал Налитухин и завернул рукав: на бледном сгибе локтя чернели четыре воспаленных пятна. "Это я там, в ленинской комнате, испытывал себя на выдержку. Это я сигареты об кожу свою гасил. Бутылку водки, правда, перед этим заглотал. Без бутылки водки это тяжелее будет. Но некоторые и после двух бутылок на это неспособны". Чем ближе продвигался к Москве поезд, тем ершистей и жалче становился Налитухин. "Чего улыбаешься? У тебя глаза хорошие, а улыбка наглая". В эту же первую встречу проявилась способность Налитухина с налета обижаться, поскольку обида — лучший способ восстановления собственной веры в себя.

И когда этот шумный перегон в битком набитом поезде закончился, и они вышли на московский перрон, и оказались на площади трех вокзалов, где вокзалы похожи на недоеденные праздничные торты, оставленные в пыльном углу, и сквозь нейтральные облачка неслась напрасная голубизна ситцевого неба, налитухинская горячка, подогреваемая стуком колес и скреплением тел на верхних полках, прошла, и хмель дружбы сменился похмельем фамильярности. Пулеметные зрочки перестали выстреливать очереди, он стоял руки в карманы, кусая губы, не зная, куда себя деть: "Пива, что ли, выпить?" На сигаретной коробке Четверган начеркал свой адрес и сунул Налитухину в карман: почти уверенный, что этот адрес будет выброшен на первом же повороте; однако нужен был почтовый жест, чтобы увековечить тот момент, когда, пробираясь сквозь толкучку вагона, он был вдруг замечен и выхвачен из толпы цепким налитухинским взглядом. Налитухин вздохнул, зевнул, передернулся и со-

щурился на ситцевое небо, и от мощного зевка на груди его звякнул колокольчик на цепочке. Странное украшение, которое Четверган заметил еще в вагоне, и колокольчик звякал при всяком шумном налитухинском жесте, из которых тот весь и состоял, и так и остался в памяти ямщицким перезвоном. Четверган не удержался и, кивнув рукой на колокольчик с золотой цепочкой, сказал:

"Златая цепь на дубе том". Эта четвергановская манера не упустить ни одной каламбурной возможности: каждого превращать в мекабрический словарь. Словарь для него существовал отдельно, человек — отдельно. Но это было известно одному Четвергану. Человек об этом не догадывался. Налитухин побелел и зашипел:

"Пусть отгниет моя правая, как это называется?"

"Десница", подсказал Четверган.

"Пусть отгниет моя правая цевница, если я переступлю порог Вашего дома!" и Налитухин бросил на асфальт сигаретную коробку с адресом Четвергана и еще притопнул ее ногой.

"Десница, а не цевница", холодно поправил Четверган. "Цевница — это заря".

"Короче, пусть отгниет моя правая рука, если моя левая нога ступит на порог Вашего дома". Четвергану ничего не оставалось, как повернуться и зашагать прочь. Оглянувшись, он заметил, как Налитухин нагнулся, поднял с асфальта сигаретную коробку, и аккуратно сдул с нее пыль. Нет, он не Байрон, он другой.

И уже когда четвергановские юмористические аллюзии и реминисценции в связи с этой встречей в вагоне всем надоели, Налитухин появился на пороге, и он перешагнул порог этого дома, но, конечно, не левой ногой, а правой переступил он порог четвергановского дома и, тем самым, не нарушил своей клятвы не переступать порог этого дома левой ногой. В правой деснице у него была бутылка водки, а на губах сияла цевница, и эта непоследовательность ничуть его не смущала. Непоследовательность была его знаменем, и под этим знаменем присягнул Четверган, который осмеливался на непоследовательность лишь словесно; Налитухин же был

непоследовательностью в натуре. И с этого прихода с десницей и цевницей начались их странные отношения: и чем ближе дело шло к отъезду, тем чаще Четверган пускался с Налитухиным в странные авантюры, исчезая с дачи без видимой причины, и возвращался избитый, ободранный и как будто сменивший собственную шкуру. Менялось даже выражение глаз, но потом он приходил в себя. До следующего, очередного, визита Налитухина. Никто ни разу не видел Налитухина на четверге. Четверган держал его как будто при себе, никому не показывая. Налитухин был тайной жизнью Четвергана. Он был его Уолтером Митти. Четверган одевался в Налитухина как в дикую шубу, в звериную шкуру, змеиную кожу. Он напяливал Налитухина на себя, вывернув наизнанку его незаштопанную душонку. И вот сейчас Четверган сидел в кресле на колесиках на улице Таити, где негр Титти-Митти, и кот без чижика и собаки, один на всех путях, как будто вылезший из этой налитухинской шкуры; а его чучело развалилось в его кресле на Преображенке, и орало перед его Ниной пьяным голосом: "Я ковал тебя железными подковами, я пролетку твою лаком покрывал". И логической стороной этого относительного периода жизни было указание свыше о совместности или несовместности этих географических метаморфоз. Четверган сунул два пальца в нинин конверт с маркой, изображающий ледокол "Ермак", и вытащил оттуда упомянутое выше письмо Налитухина. Письмо писалось Налитухиным или в пьяном состоянии, или же дописывалось время от времени, пока его кости переносились с борта на берег и от края и до края, от моря и до моря; а скорее всего и то и другое: и пьяное и географически не закрепленное:

"Через канифас-блок и на турачку! Прошу покорно этот год считать несостоявшимся, убыточным, а еще удобнее было бы ни за что не принимать, будто и не было его вовсе. Вернули меня на борт, и даже дали золотые часы с трепетиром, а для морской прохлады на поздний осенний путь полагается у нас байковое пальто на брезенте с ветряной нахлобучкой на голову. И даже в кубрик поместили в лучшем виде, как настоящего барина, но с другими здешними господами

я в закрытии сидеть не любил и совестился, а уйду на палубу, под презент сяду, гляжу на бурное твердиземное море и спрашиваю: "Где же наша Россия?" И пока я метался по палубе от канифас-блока до турачки, пока палубу заносило то поближе к вам, то подальше, раздумывал, что, к сожалению, годовщина Октября слишком близко, и письмецо мое не успеет к сроку, и значит придется поздравить с Рождеством, Боюсь только, что географическая близость еще ничего не решает. Для вас. Или "вам" нужно писать с большой буквы, как сударю? Любимая моя Маша сейчас на материке, посему, вернувшись в Чигичинах, я ощутил тоску несказанную и подумал: куда же завели тебя деликатность и порядочность, тонкая душевная организация, какие проценты ты нашил с этого неподдельного капитала? Выть хочется, как стану вспоминать мутные ночные огни над великой речкой Хапиловкой из окна вашего с Ниной дома, пересыхающие его паркеты и уют — не семейный, не домашний, а просто уют. Ибо надоели твердиземные моря и вахты и не хватает уюта. И твоих кинжальных улыбок, и ее, добрых и скептических. Надлома вашего не хватает и странного вашего неоправданного оптимизма. Где же вы теперь, друзья, которых не смею назвать однополчанами? Но это Вам, сударь, должно быть стыдно, поскольку ваши кинжальные улыбки загнали меня за тысячи километров от родных мест и от вашего дома. И даже если и есть мне в чем каяться, и хоть и я виноват в том, что вам голову пробили, но каяться я не намерен. Потому как своим уходом я всего себя оправдал, и теперь Ваша, сударь, очередь объясниться: сидя на острове Колгуеве я чист, Вы же продолжаете выжучивать из себя паутину ядовитых слов, как всякий паук, который сам из себя паутину вьет и сам по ней путешествует. И если ударили Вас по голове при моем участии в "Дружбе", то в настоящий момент просветления от беспробудного пьянства я сам собой являюсь доказательством, что получил ты по голове из-за всеобщего соучастия в содеянном посредством ваших собственных ядовитых слов. Так вы оплатили мне за то, что в вагоне дальнего следования я поднес Вам милостыню в виде хлеба с колбасой? А почему? Потому что не из любви к ближнему мило-

стыню оказываешь, а из презрения к самому себе: ты хоть и нищий, зато свободный, тогда как я был обеспеченный мало-мальски холоп. Кто про что, а вшивый про баню, а там, гуляй, рванина, вокруг магазина. Не поняли вы взаимосвязи моей подбитой на лету души, и всячески третировали меня, цепляясь за мои слова и накручивая из них свою паутину. Но привязав мою Россию к позорному столбу, Вы, сударь, приковали к нему и себя, и плюясь в нее, плюют и в Вас. И превращая нашу с Вами бывшую дружбу в анекдотец, подливаемый как ленивый смех в чашу общества на Ваших четвергах, на которых имел честь не бывать, Вы, сударь, превращали мою жизнь в повод для вашей трепаловки. И глухи Вы к истине, потому как только через любовь дается она, у Вас же на губах кинжальная насмешка. Не каждому в руки даются муки, и сколько б Вы ни старались загнать себя в поисках четвергазмов, Вы останетесь шутом на чужом похмелье: потому что не идете ко мне на мой зов с острова Колгуева, а отделяетесь одними обещаниями в верности, как моя Машка-стерва. И если она не едет ко мне на остров Колгуев, понимая, каково мне, значит она мне не жена; а если не понимает, каково мне, значит ошибся я в ней как в женщине. То же скажу и Вам, сударь, хотя Вы не женщина, и мне не жена. Сейчас здесь жестокий мороз. От голода гибнут олени. Нерпа выходит греться на лед, и тут ее стреляют. Куропатки мерзнут на лету. Гибнут лебеди, которых обманула лживая весна. А весна одно из паскуднейших времен года. Вам хорошо в Москве сидеть в благоустроенном одиночестве и отмахиваться, что, мол, никого не хочется видеть: мне же видеть просто некого. Неверие твое в то, во что не поверить нельзя, подтверждает мою веру в то, что правильно я удалился в отшельничество и пустынножительство: потому как не принимаю я такой фасон, чтобы на словах делать одно, а жить по-другому. Ты же подкузьмил меня, дружок. Ты же всю жизнь сидел на чемодане и смотрел на меня, как на вынужденного попутчика до пересадки. Навострил зубы, обрезал уши и все для того, чтобы говорить мне в лицо все таким манером, как будто шепчутся у меня за спиной. И самое главное слово: "расплеваться". Угадайте, с кем

вам придется расплевываться еще в нынешнем году? Рядом с моей времянкой бродит шатун, не успевший сделать берлогу. Это матерый медведище, и это по-настоящему страшно, потому что обычно шатуны погибают к Новому году, и как будто зная о том, что погибнет неизбежно, делает гадости людям. Обычно они бродят по дорогам, подкарауливая пешеходов. Ни один охотник не пойдет на шатуна в одиночку — с любым оружием. Когда по свежей пороше вчера я увидел его лапы, я дал такого деру, что потом сам удивлялся. Если б встретился, спастись от него невозможно. Что я без тебя, как не болтанка вместо нутра. Да, я жил только тобой, но назвать меня клопом, паразитом, живущим на тебе, значит не знать, что такое любовь, а понять Вы этого, сударь, не в состоянии, потому что кишка у вас тонка приехать в Чигичинах на остров Колгуев. Не ваш, Налитухин".

6

Это письмо было вложено в путеводитель по Иерусалиму.

Глаза болели от чужого почерка и непрерывной перемены места действия. Но перескоки совершались исключительно в уме. И в этих частных положениях не отыскивалось общей позиции. Четверган четыре раза крутанулся на вращающемся сидении, и кресло опустилось так, что он смог не опираться ногами о пол, а откинуться на спинке. Он подвернул винт сзади, и спинка кресла отклонилась, давая отдых позвоночнику. В любой новой жизни, входя в новое обиталище, он первым делом оглядывал, какие спинки у стульев в комнате. Каждый дом, кафе, учреждение оставалось у него в памяти именно видом стульев, скамеек и вообще сидений, точнее их спинок, и он мог отвернуть нас от прекраснейшего из мест на земле только потому, что там не нашлось удобного стула с подходящей спинкой. Самым удобным казалось кресло в самолете. И поскольку кресло самолета давным-давно уплыло в облака, Четверган, однажды приземлившись, предпочитал вообще не вставать с кресла. Вместо того, чтобы увидеть Иерусалим собственными глазами, он предпочитал путеводитель по Иерусалиму. Слово он предпочитал делу.

Впрочем, однажды Тамаев вытащил его все-таки на берег Мертвого моря, и Четверган согласился только потому, что по соседству с Мертвым морем были расположены пещеры с кумранскими рукописями, и присутствие рукописей, точнее, сочетание мертвого слова и Мертвого моря как дела, несколько примиряло его с необходимостью покинуть кресло.

"Надо совершать велосипедные движения", с энтузиазмом инструктировал Тамаев, объясняя правила купания в Мертвом море. "Когда вода доходит до пупка, начинай работать ногами, совершая велосипедные движения. Это предотвращает от переворачивания лицом в воду: этого ни в коем случае нельзя допускать, потому что вода жутко едкая. Надо, совершая велосипедные движения, осторожно перевернуться на спину. И все это не потому, что тянет вниз. Наоборот, Мертвое море выталкивает вверх, и так сильно выталкивает, что можно замочить глаза. Как только вода попала в глаз, нужно сразу велосипедными движениями продвигаться к берегу и бежать к одному из пресных источников и вымыть глаза".

Несмотря на активные велосипедные движения Четверган тут же брызнул водой, и вода попала в глаз, и как он не вымывал глаз в пресном источнике, тот ослеп на целый день, и Четверган сидел сонным петухом с одним прикрытым глазом на вылизанных соленой водой камнях, и глядел на живот Тамаева, гладким холмиком качающийся на неподвижной маслянистой поверхности. Этот круглый живот повторяли, как в бесконечных отражениях, холмы вокруг, становясь то мускулистыми мужскими, то покатыми женскими животами, ягодицами и плечами, задремавшими в одном объятии, сливаясь в одну спящую красавицу, не то заглядевшуюся, не то оглянувшуюся, и все ждущую, пока ее разбудят, и сдернут с нее мертвое окаменевшее маревопокрывало. И от этого притворства телесности в окаменелость хотелось броситься в воду и утопиться. Но вода отказывалась утопить отчаяние и снова выталкивала на поверхность, на бессильное глядение. И раздражал голос Тамаева, мамкин голос, который пытается отвлечь плачущего младен-

ца назойливой колыбельной. Тамаев лежал на спине недалеко от берега, покачиваясь на воде, как на перине. В руках у него была газета "Наша страна", и он, разморенный ленью, позевывая, перекрикивался с Четверганом:

"Сын человеческий!" кричал Тамаев, читая вслух газету, "обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки из него пророчество. Профессор Шельмович уверен, что это — транскрипция города Тобольска, руководителя, поскольку Россия по-английски будет Раша, а на библейском языке "раша" означает преступный и злобный умысел. Мешех — это, конечно же, Москва, поскольку сказано, что Гог придет с Севера, а Москва как раз на карте над Иерусалимом. Что же касается Фувала, то профессор Шельмович уверен, что его транскрипция города Тобольска, где расположены советские военные заводы. В общем, Гог и Магог — это и конец света, когда все начнут говорить по-русски".

"Я не знаю насчет Гога, а Шельмович твой демагог. Речь идет, наверное, не про Москву над новым Иерусалимом, а про Новый Иерусалим под Москвой, туда на электричке пару часов езды. Такая же неуловимая разница, как между Байроном по-английски, и Бироном в русской транскрипции", отозвался с берега Четверган. "Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал".

"Это откуда?"

"Это из Байрона. В смысле, из Вавилона. Из Вавилона старец вещий с другими старцами предстал, но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал. Просто надпись была по-арамейски. А переводчика под рукой не оказалось. Вся загадка в сущности в точном переводе".

"Я сейчас подумал", начал снова Тамаев после минутной паузы.

"И часто это с тобой случается?" раздраженно перебил его Четверган. Все это перекрикивание с берега и обратно было нелепым. Тем более, неподалеку от Четвергана устроился человек, не по погоде затянутый в галстук и не выпускающий из рук палочку. Тот же человек был третьим зрителем в кинотеатре "Иерусалим" на фильме про тайную

жизнь Уолтера Митти в ночь перед отъездом Тамаева. Он сидел рядом с железным источником и делал вид, что читает газету, но Четверган уже успел перехватить его пристальный взгляд как будто выжженных глаз, подозрительно поглядывших на парочку, в полный голос кричавшую на апокалиптическую тему на непонятном языке.

"Я сейчас подумал, — невозмутимо продолжал Тамаев, — если конец света уже близок, не стоит ли в моем будущем фильме вставить ангела, который периодически пишет на стене разные огненные многозначительные цитаты?"

"Заборные у тебя идеи. Вот у меня во дворе в Копьевском переулке дворник стирал, стирал со стены разные "петя не бросай машу равняется любовь", а однажды утром вижу, стоит он с ведром краски и пишет по той же стене: "Еще раз напишешь — убью!" Жаль, что здесь нет этого дворника, он бы осуществил свое собственное пророчество".

"На кого ты намекаешь? Ты же не понимаешь, у меня ангел будет чертить огненные надписи с глубоким смыслом. Понимаешь, это будут как титры в немом кино, ведь мы же все немые, если бы не Господь Бог. И тогда Россия будет сравниваться с Вавилоном. Я не согласен, вообще, со сравнением России с Египтом, а наш отъезд с библейским Исходом. Россию надо, по-моему, сравнивать с Вавилоном, а нас — с Авраамом, и нам через Россию было сказано: иди из родины своей, из семьи своей, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе".

"Россия буквально ждет — не дождется, когда ты ее с кем-нибудь сравнишь и к чему-нибудь приравниешь. Как жаль, что ты не родился Авраамом. Тогда ты бы ничего не знал о России, поскольку ее тогда не существовало, и сейчас России было бы спокойнее. Как жаль, что у Авраама не было кинокамеры".

"Это почему?"

"Потому что тогда он снял бы от начала и до конца свой уход из Вавилона, и ты не третировал бы меня сравнениями свиньи с апельсином".

"Но ты сам все со всем все время сравниваешь, а мне нельзя? На кого ты намекаешь своей свиньей?"

"Кто тебе сказал, что она — моя? И вообще я ведь здесь не из-за того, из-за чего ты уехал оттуда, и ты уезжаешь отсюда не из-за того, из-за чего я здесь схожу с ума".

Не сошел ли он с ума и взаправду, очутившись на этом неправдивом берегу стеклянной поверхности Мертвого моря, в котором не утопала даже газета "Наша странна" с опечаткой из двух "н": она лишь уплывала к горизонту, брошенная скучающей тамаевской рукой. Сейчас, сидя в кресле на колесиках, Четверган раскрыл путеводитель по Иерусалиму в том месте, где только что было заложено письмо Нины про кочующий четверг, и стал читать про квартал Ста ворот. Отчего везде в Иерусалиме на всяком месте, где находилось нечто жизненно необходимое одним, сейчас находится нечто важное другим, но остаются обязательно еще и те, кому жизненно важно не то, что находится здесь сейчас, а то, на чем сейчас находится то, что они презирают изо всей своей преданности тому, что уже давно здесь не находится? В данный момент Четверган находился на месте дома великого мистика из Бреслава, который непонятно где находится, но дом его находится в квартале Ста ворот. Четверган представлял себе сто ворот, а посреди площади стоит мистик из Бреслава и не может решить, через какие ворота ему выйти? Две трети описания его дома было посвящено креслу, на котором сидел и размышлял мистик из Бреслава, когда он пребывал еще в Бреславе, а не в квартале Ста ворот. В квартале Ста ворот он оказался без кресла. Это кресло вывозили из Бреслава в квартал Ста ворот ученики мистика. Они вывозили его через имперскую, а затем и советскую таможенную по частям на протяжении столетия: кто вывез ножки, кто подлокотники, кто спинку, а кто сиденье. И потом собрали это кресло заново, в доме, где проживал мистик из Бреслава во время своего пребывания в Иерусалиме, в квартале Ста ворот. На месте ему не сиделось. И в тот момент, когда в страну вторгся Наполеон Буонапартэ, мистик из Бреслава пришел к мистическому решению: возвратиться в Россию. Последователи и ученики наивно пытались оправдать это возвращение в страну рабов, страну господ, объясняя этот поступок тем, что "войско Наполеона

Буонапартэ нагнало страху на жителей Палестины и нарушило обычный распорядок жизни". Ниже приводилось изречение мистика из Бреслава, который, выходя из Ста ворот в направлении России, сказал: "И в какой стороне я ни буду, по какой ни пройду я тропе, я всегда направляюсь в Иерусалим". Это он сказал, направляясь в сторону Бреслава. И только Четверган понимал, почему мистик из Бреслава покинул Святую землю: ему в ней не сиделось, поскольку кресло его осталось в Бреславе. Вот если бы ученики оказались порасторопнее и перевезли бы это кресло вовремя через таможенно по частям, а лучше прямо целиком, мистик из Бреслава никуда бы не двинулся, направляясь всегда в Иерусалим.

* * *

"По улицам совершенно невозможно ходить: вчера меня ударили по голове в подъезде, я сейчас лежу с обвязанной головой, а завтра у меня, наверное, глаз распухнет так, что я себе представляю, что скажет наша кадровичка Владлена Лениновна. И я чувствую, что это какое-то наказание свыше, потому что уж слишком я поверила интонациям твоих прошлых писем, и последний месяц жила согласно их указаниям, делая вид, что великая разлука — еще один повод закрутить еще один грандиозный московский сюжет, и что надо крутиться, по твоим словам, "на полную катушку", и доводить все до конца, уже если изменить ничего нельзя. Начался этот месяц с масленицы у моих дальних родственников с Волги, которые приехали на месяц в Москву за покупками и остановились у другой родственницы моей мамы. Это был прекрасный денек: мы поехали за город, где мои сестры вместе с седьмой водой на киселе рассуждали о пищеварении и в грязной речке поддерживали каждые полчаса гигиену тела. Но я благодарна им хотя бы за то, что они не выспрашивали о тебе, и сидела на берегу, потягивая пиво, которое продавали прямо на соседней лужайке, с грузовика: в бутылках, к сожалению. Потом, по возвращении, было пиво с креветками за большим столом, с блинами, с селедочкой и водкой, объелись так, что не только пошевелиться, но и думать-то было тяжело, но часа через два, после

чая, стали снова пить сухое вино, потом опять что-то ели, со стола убирали и накрывали снова раз шесть. Приходили гости, каждому новоприбывшему рассказывалось, как маленькая племянница умеет говорить своей матери "закрой пасть", потом родственницы со своей дочерью исполняли в четыре руки краковяк, работал телевизор, а с магнитофона пели французы. Маленькая племянница при появлении каждого нового гостя заявляла: "Наконец-то я гульну", плашмя кидалась на стол или пыталась задохнуться в полиэтиленовом пакете. Часов в шесть вечера из соседней комнаты вдруг появилась бабушка и завопила: "Совсем с ума сошли, с утра водку хлещете". Это она проснулась. В общем, мне было хорошо и спокойно, потому что можно было не думать, что с тобой происходит и что по этому поводу надо делать, чего сделать нельзя. Потом была мучительная поездка в метро в одиночестве, но я была настолько усталая и полупьяная, что, слава богу, не слишком это одиночество помню. В результате на дачу я так и не переехала, потому что на следующий день, как я тебе уже писала, встретила Налитухина при весьма странных обстоятельствах. В результате я и оказалась с разбитой головой и опять не поеду на дачу.

Как я тебе уже писала, он оказался у меня за спиной, пока я у газетных стендов рядом с Центральным телеграфом читала твое письмо. Он меня страшно напугал, когда протянул из-за спины руку, и я вдруг слышу голос: разрешите поинтересоваться. Я оглянулась и вижу: Налитухин! Не помню, писала я тебе или нет: после того случая, когда он махнул на берег в самовольную отлучку в Ньюфаундленде, за ним тянется непонятная телега, и в результате он никакой работы кроме как сортировщика писем найти не мог, и сейчас сортирует письма на Центральном телеграфе. Как и следовало ожидать, у него от этого страшно важный вид, и, когда мы шли к метро, он заявил мне с загадочной физиономией, что по его сведениям у тебя весьма шаткая репутация в Иерусалиме. "Откуда такая информация?!" возмутилась я, но он сказал, что у него теперь важные каналы в распоряжении, и что он мне сообщает это в исключительно приватном порядке, и чтобы я ни в коем случае никому ни слова, вот я тебе

и пишу: что это значит? и как это понимать? Что там с тобой происходит, или ты опять по весне в депрессии и мне запрещено задавать вопросы? Но меня со всех сторон прижимают конкретными вопросами, а я не знаю, что ответить, потому что моя фантазия истощилась, и я страшно боюсь, что с тобой произошли там какие-то необратимые изменения, что ты стал совсем другим, и я никогда этого уже не пойму и тебя не узнаю. Налитухин увязался меня провожать до дома, и когда мы поднялись на мой этаж, то были встречены всей компанией твоих четверганистов: они были уверены, что я вернусь домой, поскольку в тот день был четвертый четверг твоего отъезда. Я старалась этого дня не помнить, хотя прекрасно помнила, но при таком напоре в мою квартиру мне ничего не оставалось, как принять участие в твоих поминках. Однако мне удалось вытребовать себе право не быть хозяйкой дома: пускай все идет своим путем. В общем, я была настроена весьма мрачно, и когда мне задавался очередной вопрос: "Ну как он там?", я бесцеремонно отвечала: "У него депрессия".

"А что значит, что у него депрессия?" спросил Налитухин. "А то и значит, — сказала я — что он лежит целые дни на кровати и на все вопросы отвечает: "завтра". "Интересно только, — сказал Налитухин, — кому он отвечает, и кто его, собственно, спрашивает?" Действительно, кто? И что это за американка, на которую ты глухо намекаешь? Мне наплевать, с кем ты там спишь, но мне не хватает твоих слов, точнее, их запас кончается, а от меня требуют, забыв, что, кроме тебя, у меня есть собственная жизнь, но в чем она заключается, я, откровенно говоря, уже плохо понимаю, сколько ни убеждаю себя, что я сама по себе, а ты сам по себе. Когда ты был здесь, все было просто и естественно: мое место на четверге было вторичным, женским, но и четверг для меня был вторичным: так как истинной жизнью была наша с тобой совместная жизнь, точнее твоя жизнь для меня. Я никогда, правда, раньше не располагала по полочкам, но убеждена, что все стояло на своих местах в этом смысле. И если я иногда и устраивала бунт, то только потому, что по глупости считала разделение на первичное и вторичное

обязательным, причем принцип деления должен быть только таким, как у меня, или ты меня не любишь. А с твоим отъездом моя жизнь весьма усложнилась; раньше было достаточно того, что я появляюсь с тобой, и если при этом я все время улыбаюсь и киваю головой, то и вообще все шло прекрасно. Если мне не хотелось, я могла остаться дома или прийти и тихо просидеть в уголке весь вечер. Одним словом, никакой ответственности и никаких обязанностей по отношению к раньше твоим друзьям, которые теперь считают себя моими. Менялась ситуация, конечно, незаметно: сначала все считали своим долгом меня развлекать и ни на секунду не оставлять меня с мыслями о твоем отсутствии, так что у меня не было возможности просидеть весь вечер в уголке. И кроме того, все разговоры в первое время после твоего отъезда крутились вокруг тебя, твоих писем и вообще приблизительно до лета наш с тобой сюжет был основным при всяком разговоре. Это не значит, что сейчас о тебе и о нас говорят меньше — нет, даже может быть наоборот. Но моя включенность во все эти ситуации и мое постоянное со всеми общение требует от меня нечто большего, чем просто присутствие и просто понимание, о чем идет речь, или просто правильная химическая реакция. Понимаешь, это не совсем то: не просто кто-то чего-то от меня хочет, а я не способна; скорее всего никому и в голову не приходит, наверное, чего-то ждать от меня. Я сейчас имею в виду только себя: если для меня за всеми этими разговорами ничего не стоит, кроме этих разговоров, то это настоящий обман. У меня, конечно, нет никакой абсурдной идеи перестать встречаться или начать вести себя по-другому, а просто я в последнее время настолько включилась в эту четверговую жизнь, что хочу понять, действительно ли она что-то для меня значит и я для нее, или же это лишь эхо твоего отъезда. И в результате все-таки в самом деле бывают ситуации, когда от меня требуется не только вторичное, да какое там вторичное — десятиричное комментирование, а четверг постепенно повышает свои требования, сам того не замечая, и я должна, я не преувеличиваю, именно должна участвовать во всех разговорах. Этого мало, я еще должна по каждому поводу иметь

свое мнение или не свое, но если не свое, то чье? конечно, твое, которое мне кажется своим, но запас твоего воспитания постепенно истощается. А у меня нет твоего наплеваательства, чтобы лечь в кровать и на каждый вопрос отвечать: завтра. Или, наоборот, закрутиться навязчивой идеей и бросить все и всех. И я ловлю себя на том, что говорю без умолку какую-то чушь, но все слушают и не дают мне остановиться. Раньше я могла смотреть на все со стороны и улыбаться про себя и считать себя никем, а теперь у меня появилась своя собственная судьба, точнее мне ее как будто подкинули, и все смотрят на меня как на трагическую личность и ждут, что же со мной будет дальше, и я, как подкидыш к этой общей судьбе, должна все время идти назад, лицом к тем трем неделям, когда получалось жить только потому, что еще не мое время, а лишь твой отъезд. А теперь я еду на твоем отъезде и не могу остановиться.

"Что же делать?" помню я пьяный разговор в середине вечера. "Соблюдать четверг", сказала я. "Я не об этом. Нина. Что делать?" Я чего-то брякнула: "Шаг вперед, два шага назад. И вообще с вопросами "Что делать?" и "Кто виноват?" надо идти в Мавзолей, а не на четверг". Как видишь, я теперь за словом в карман не лезу. "Мне на такие вопросы водки не хватит", вклинился в наш разговор Налитухин, уже на сильном взводе, и спас меня от этих вечных вопросов, уведя на кухню. Там все еще резали салат, в то время как Налитухин с двумя Ленами допивали четвертую бутылку водки, таская компоненты из салата. Раздавались звонки, и к приходу основной партии гостей принесенные антрекоты только начинали мокнуть в уксусе, в то время как Налитухин жарил котлеты по 6 коп. из холодильника, которые тут же поедались. Потом и вино пошло в ход, все сидячие места уже были заняты, как наводнение ввалились неприглашенные, антрекоты остались мокнуть в уксусе, то же самое происходило с клеенками и вилками, которые так и остались неиспользованными, и я теперь не понимаю: их владельцы едят, наверное, у себя дома на газетах и руками. За столом продолжалось то же самое: пьющие водку разливали из-под полы, остальные клянчили по рюмочке. Все хотели как-то побыст-

рее напиться, и их не останавливали твои презрительные остроты: у меня было такое впечатление, что все были в этой тоске по тебе даже отчасти довольны, что тебя нет и можно вести себя свободно. Налитухин восседал в твоем кресле и скандировал мне, как стихи, в ухо:

"Мы с тобой, Нинон, родственники по несчастью: тебя бросил Четверган, а меня бросила Машка. Машка меня бросила, потому что я через канифас-блок и на турачку сделал великой женщиной. Эта дама была из моего ребра. И ей надо было проявить самостоятельность: вот она и уехала. А тебе тоже надо было проявить самостоятельность: вот ты и осталась". Может, он и прав, и я проявила самостоятельность, и оставила его шуметь в кресле, а сама пошла на кухню. Там распивали бутылку "Кабернэ", и Ваня читал твои письма:

"Вот он в письмах просит присылать ерунду, а сам не присылает. А нам, может, тоже хочется подробностей, мы, может, и сами тоже можем домыслить", сказал Ваня.

"И это зависит от ваших мыслительных способностей!" было сказано человеком с палочкой, не буду называть его фамилии, ты понимаешь, о ком идет речь. Я не видела его со времен того скандала у тебя на кафедре русского фольклора, после которого ты угодил в психбольницу. Он сбрил бороду и стал еще более колючим. Он слишком резко оборвал Ваню и извинился: "Вы нас извините: это Четверган нас подзуживает своими письмами. Его письма как наркотик: эффект зависит от вашего воображения. Дай наркотик алкашу с Преображенки, так ничего кроме как "мать моя родина, я большевик!" все равно не услышишь. Тот же результат можно получить с помощью бутылки водки. Я еще не такие письма буду писать, если меня переселят из района Зачатьевского монастыря в Чертаново!"

Они сидели на кухне за импровизированным столиком: длинная доска, которую я использую для глажки, была поставлена на табуретку и для равновесия с обеих сторон придавлена пачками книг, но все равно крутилась как пропеллер. Она так и не опрокинулась, и это чудо, потому что человек с палочкой, забывшись, или нарочно, хлопал по до-

ске кулаком, так что я каждый раз дергалась, чтобы поддерживать рюмки. И еще за окном лающее железнодорожное эхо за рекой Хапиловкой, где заводы, звучало как слуховая галлюцинация от разговоров.

"Ему там хорошо, под небом Африки своей, вспоминать эту паршивую кулинарию при гостинице "Москва", когда у него итальянский кофе на каждом углу и английский чай с арабской халвой. А нам каково тащиться каждый четверг и стоять в очереди в этой паршивой "Москве"?"

"Но Вы, Нина, воспринимаете это, как ностальгию, а это не ностальгия, а ум мнемониста. У него такой ум мнемониста: чтобы вспомнить нужное слово, ему нужно вспомнить тот дом, и то окно, и ту кофейную машину, так что каждое предложение у него это целый географический маршрут. Этот механизм похож на светский разговор, который я слышал в одном доме: сидят и говорят об антисемитизме. Пушкин был, конечно, антисемит. Ну, Грибоедов тоже, в общем, конечно. Потом третий говорит: И Тимирязев тоже, несомненно, антисемит. Я думаю: с чего вдруг Тимирязева вспомнили? А потом до меня дошло: так ведь мысль движется по Бульварному кольцу, по памятникам: Гоголь, Пушкин, Грибоедов, Тимирязев. Такая мнемонистика!"

"Вот мы все и стоим в очереди по его памяти. А эти очереди такие: на сантиметр сдвинешься, а потом приходится разгребать локтем. А тут еще хуже; тут как очередь в Мавзолей: если подозрительное лицо, сразу выкидывают. Он мне уже не пишет. Уже месяц ни слуху ни духу, ни открытки. Короче, прекратились позывные с того света. Чем я, интересно, провинилась?"

"Вот именно: как вы относитесь к тому, что он оставил Нину?" "А если б ситуация была обратной? Если бы Нина бросила его?" не успокаивался Ваня.

"Ничего не понимаю, какая ситуация? Что за сочинение детектива за чужой счет? Бахтин уехал в Йошкар-Ола, а юмор продолжал развиваться. Сейчас мы сидим здесь, и у нас такая ситуация, что мы можем решать только выпить ли нам еще одну бутылку "Кабернэ" или ехать домой. А придут другие вопросы, так мы их и будем решать, каждый

как может. Каждый! И вы, и он, и еще кое-кто, не будем указывать пальцем кто!" и он повернулся на стуле и ткнул пальцем в меня, опрокинув при этом бутылку "Кабернэ", и кровавая лужа растеклась по полу. Это был единственный, более ли менее связный разговор, который я помню за этот вечер. "Теперь ваша очередь говорить, сказал он, — вот вы молчите, а интересно, с Четверганом вы тоже говорили неогласованно?"

"По-моему, вполне достаточно моего молчаливого присутствия для продолжения ваших сюжетов. Может, поэтому я и не способна покинуть эту местность", сказала я.

"Вот это ответ не девочки, но мужа! Он эту кашу заварил, пускай и возвращается со своего Мертвого моря. В своей стране он тоже иностранец? Пускай лучше вместо того чтобы развлекать бездельников у Мертвого моря, развязывает тесемочки у своих папок и пишет письма в ООН, КПСС и КГБ, и чем меньше он у нас в мыслях, тем больше ему будет чего сказать. А то у него поток сознания сменился потоком дезинформации: сплошная клубника в январе! Где тот Четверган, при котором вся ерунда становилась историческим фактом? А то ведь вся историческая ситуация на данный момент строится за ваш счет: пока вы к нему не уехали. Вы так его прямо и спросите: сколько вам еще здесь сидеть? в том смысле, что: сколько ему нужно, чтобы мы ему промывали косточки?"

"Прямые вопросы не всегда уместны. Точнее, они почти никогда не доходят по почте", сказала я.

"Вот было потрясающе, когда Четверган однажды заявил: в древней русской литературе не было прямой речи. А я его спрашиваю: какой речью, интересно, говорил Господь Бог?!"

И со всех сторон один и тот же мотив: "Как ты думаешь, поедет ли она, а ты как думаешь, она поедет, а тебе я, Ваня, клянусь, ты не смотри на меня, я очень пьяная, что такое вообще, в чем дело, я тебе клянусь, что да, но с другой стороны". С другой стороны меня убеждала чья-то жена напором голой сути: "Да пусть там говорят хоть по-арабски, да я была бы счастлива быть с Четверганом и не понимать всю эту брехню на улице. Говорят, что Тамаев получил два миллиона,

так что вам нечего волноваться за квартиру". Как будто у меня в Москве не хватает квартиры. По которой к сере дине вечера я уже летала.

В этот вечер я хотела быть со всеми сразу, как будто это последний четверг, и это я уезжаю, а ты наоборот сейчас войдешь, потому что вернулся и только вот в продмаге задержался, чтобы купить соевых батончиков к чаю, а я носилась, как заводная, из кухни в комнату и обратно через балкон, заглядывала через плечи, вмешивалась в чужой разговор, ставила одну пластинку, не дав дослушать другую. Выбегала на лестничную площадку, разыскивая отсутствующих. Находила их не одинокими. Бормоча "ну здесь все в порядке", бежала дальше. Немного протрезвев, увидела на полу кучу обломков, соуса, салата и окурков. Много счастья много, только из чего же теперь пить? Пили, как я уже сказала, из блюдец, и мне казалось, что все в порядке, что четверг продолжается, и ты сейчас войдешь. И пусть ты больше никогда не войдешь, пусть. И четверга больше не будет. Никогда. Никогда. Никогда. Но в это нельзя верить. Но этим неверием я и живу. Я верю в то, что в это нельзя верить. И ты не веришь, сколько бы ты ни старался в этом убедить твой четверг. И поэтому ты и из меня в своих письмах делаешь какого-то Азефа в юбке, который спровоцировал тебя на вечное верчение вокруг одной и той же мысли: почему я с тобой не поехала, почему я оказалась предательницей. Но это в твоих открытках я становлюсь предательницей, потому что это ты своим отъездом предложил тупик как выход из безвыходного положения. И это я, а не ты, по-настоящему ищу выход из того положения, когда больше некуда деться. Но ты зовешь в тупик, и тот, кто за тобой не идет, становится в твоих глазах предателем. И уж если все так произошло, я согласна взять на себя роль своего твоего эпистолярного двойника, и по-моему роль предательницы я играю довольно успешно. Предательницы с протянутой рукой, на губах которой шевелится слово "предатель", предназначенное тебе.

Войдя в большую комнату, я еще чего-то выпила и шумовой хаос получил иерархию: два центра — скороговорка

с отдельными выкриками в одном углу, и скандирование из кухни: "А вы пишите ему все подряд, а он там у себя все эти вавилонские таблички из России с любовью правильно разложит и правильно перепутает и византийский палимпсест выдаст за кремлевскую буллу". А вокруг ровный рабочий гул. В большой комнате орал Налитухин: "Постой паровоз, не стучите колеса. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна". Подняли общий тост из блюдец за великие совпадения, поскольку это был последний четверг перед Троицей, или Семик, семицкий четверг, а уехал ты тоже в четверг, в Богоявление. Налитухин всех перецеловал и падал на колени, но ни на кого ни разу не напал, только трахнул Ваню разок по плечу, чтобы тот не засыпал, и слушал внимательно, и не отвлекался. Он произносил тост "за нашу Нину" и так его затянул, что все устали держать рюмки, перебили, не дали кончить. Что-то там было про "ведь их надо еще вырастить, эти уголки губ" и он упал на стол, опрокинув соусник с кислой капустой на Ваню. Ваня проснулся: "Но почему всегда на меня? Хоть бы горячие были щи, а то ведь кислая капуста из холодильника", и снова заснул, несмотря на дикие звуки из проигрывателя: "живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому". Тут и начался наш вальс с Налитухиным. Пластинку с теремом ставили раз десять, и каждый раз он приглашал меня "на вальсок". Как он держался на ногах, я не понимаю, чем больше он пил, тем больше наливался, и только громче кричал и исповедовался. И вот во время этого вальса без начала и конца он, повисая на мне периодически, и кладя руки не туда, куда следует, стал меня уговаривать поехать с ним, сейчас, ночью, на Центральный телеграф. Сначала он соблазнял меня просто веселой прогулкой: там, говорит, ночью никого нет, а у него ключи, и он там полноправный хозяин, распоряжается чертями, которые играют в карты любовной перепиской и пьют спирт из сургучных печатей. И что у него есть чего рассказать мне, некая странная страшная тайна. И я не помню ничего точно и ни за что не ручаюсь, потому что у меня слова этого вечера в пьяном полусне перепутались с реальными сновидениями, где повторяются

те же слова и ситуации. Во время танца мне было очень весело, но когда я сейчас вспоминаю, что, по его сведениям, у тебя весьма шаткая репутация, мне становится не по себе, хотя, ему, конечно, нельзя верить. Закончились танцы тем, что при очередном скрипичном надрыве "не бойсь, не пужайся, я тебя не выдам" Налитухин в пируэте подпрыгнул так, что воткнулся в плафон люстры, как будто схваченный за шиворот. Лампочки заслепили утренним светом. Только тогда все поняли, что уже светает. Налитухин же плюхнулся с размаху в твое кресло и раздался треск: не кресла, а его штанов, которые разъехались сзади по шву, зацепившись за ручку кресла. Он, по-моему, так и ушел с дырой сзади.

"Это что за моногамид другого генотипа, и почему мы его раньше не видели?" спросил меня человек с палочкой, собравшийся тоже уходить. "Это тайная жизнь Четвергана", сказала я, не зная, что сказать.

"Шумная же у него, однако, была тайная жизнь", пробормотал он. Я его провожала до такси, потому что в середине ночи вдруг пошел снег хлопьями, еще вчера я сидела на берегу речки, а тут вдруг снег, что-то с погодой странное происходит. А потом снег перешел в ливень, и все развезло, и на рассвете стало так скользко, что он попросил меня проводить его до такси. Моросил дождик, одновременно и мартовский и майский, вокруг нас клубился туман, как будто мы по горам шли, он иногда останавливался, закладывал ногу на ногу, и чертил палочкой круги в луже на асфальте под фонарем:

"Доза солидарности как-то превысила допустимую: раньше люди исцелялись друг при друге, теперь стали друг друга отравлять. Он умел работать на четырех собеседников сразу, и война превращалась в воинственный разговор. И началось это с Никиты Пустосвята на ученом совете: орать, когда все молчат. Когда все молчат в кулачок, должен же кто-то взять на себя роль юродивого, кричать, плевать и хохотать. Это лучше, чем любое замалчивание. Но началось это гораздо раньше, когда он заявил, что шестьдесят секунд самой ничтожной жизни грандиознее, чем шестьдесят самых великих слов на свете. Ведь слова, на самом деле, нужны лишь тому,

у кого нет ни сил, ни тугриков жить. А он так и не научился оставаться в рамках беседы на несбыточную тему: он до сих пор остался вопящим младенцем, который кричит, когда ему обрезают пуповину: "Не хочу!" У него же давно комплекс Сталина и Гитлера в том смысле, что винтовке поверять перо и сказку сделать былью. А потом осквернять с помощью самых нелепых жестов честь безумца, который наваял человечеству сон золотой. Ему важно доказать, что золото фальшивое. Может, поэтому он и уехал. Может, поэтому мы и остались. На всех стихиях человек тиран, предатель или сволочь. Так и хочется пойти наперекор стихиям и проверить крепость черепа старушки-процентщицы. Но не принимайте этого на свой счет. Вы не солнечная система, вы не Бог Са-вооф, вы не Юпитер из жидкого водорода, вы не Венера с такой атмосферой, и когда он взывает к Марсу, он имеет в виду не нас. И не надо принимать на свой счет шишки, которые относятся к самой справедливой в мире солнечной системе и ее устройству. И тихо прорывает осень, кому-то передав привет, что этот край навек покинул последний, может быть, поэт. И рассуждать о нем стало нашей специальностью. Догорай моя лучина, догорю с тобой и я. Вот что это такое. Он просто не может не воевать, а любим мы его за другое. Ему кажется, что все кончилось. А все на самом деле только начинается. Три месяца прошло, а осталось еще тридцать три года. Хотя это у нас время такое замедленное, а у них каждый месяц как год по теории относительности. Он не прав, что копаются в прошлом, а вы не правы, что копаетесь в будущем. Заместителя на его кресло не будет, это ясно, так что не копайтесь. Ваше будущее будет, когда нас на свете не будет. Опанасе, наша доля туманом повита. Мы должны отстоять эту обедню. Есть обедня, мы должны ее отстоять. А вы идите, а то совсем промокнете", и я сразу не поняла, что это он мне говорит. И я так и оставила его стоять в ожидании такси на проливном дожде под фонарем на перекрестке. Он совсем промок, но как будто не замечал, как вода лилась ему за шиворот, а вот так вот стоял, и мне было страшно его оставлять, и может быть даже хотелось его поцеловать, потому что во всем этом бреде последних

дней, где каждый, включая тебя, доказывал друг другу свою отчаянную правду, только он говорил странные светлые слова, странные потому, что как будто мы сами их говорили и не замечали, а он как будто поднимал их, брошенных, как пятаки с земли и подымал нас самих на этих словах, а он протягивал ладони, да пусты кошельки выпадали с руки. Плакать мне хотелось, когда я шла обратно, но слава Богу, из-за дождя глаза все равно были мокрые.

И вот когда я уже открывала дверь, я получила удар по голове. Я была, прямо скажем, не очень трезва, и до сих пор не понимаю, может, это я и сама о дверь стукнулась, споткнувшись о кота. Какой-то бродячий кот с желтыми глазами шмыгнул из-под моих ног в темноте на лестничной площадке, у меня сжалось от страха сердце, и тут я стукнулась о косяк двери или кто-то меня стукнул, потому что я точно слышала мужской голос "пардон, перепутал!". Может, он и перепутал или кот напутал, но на утро я проснулась с опухшим глазом, да и тот не следовало открывать: можешь себе представить, что делалось в квартире, не считая разбитой люстры. Крайняя занавеска была сдернута и в этом световом облаке со странным погремыванием кувыркался маленький попугай. Сначала я подумала, что очутилась в районе тебя, посреди твердиземного моря, на турецком берегу или в Африке, которая мне не нужна. Но несколько придя в себя, разглядела, что это игрушечный попугай, который кто-то из гостей принес вчера мне в подарок взамен тебя. Попугай кувыркался вокруг розовой погремушки. Он бился о погремушку зеленой грудью, та раскачивалась и гремела. Это было настоящее пробуждение в аду. И до меня дошел смысл проклятия, которое исторгнул из своей широкой глотки Налитухин, когда покидал вчера поминки с дырой сзади в штанах, а я отказалась последовать за ним на телеграф, чтобы пить там самогон из сургучных печатей. Я сейчас вспомнила, как он качался на пороге, и вид его был ужасен: голова, после столкновения с люстрой, была обмотана полотенцем, и полотенцем этим, как помню, вытирали стол, когда опрокинули банку с мармеладом. Он стоял на пороге и орал: "Пусть отгниет моя правая цевница! Радуйся и веселись, дочь Едома, обита-

тельница земли Уц! И до тебя дойдет чаша сия: напешься допьяна и обнажишься!" и хлопнул дверью. К тому же он унес чужую шапку, и ее владелец перевернул всю квартиру. Я не знаю, откуда он выучил столько библейских оборотов, но чувствую я себя сейчас вот именно в земле Уц.

Выяснила только то, что походя я сообщила одному моему confidentу, что он смеется, как его жена. На что мне было сказано, что я говорю как ты. Господи, от кого же я всему этому научилась: конечно же, от тебя! И у меня больше не хватает сил все время сознать, что я занимаюсь неким чревовещанием на четверге твоим голосом. И ни голос, ни четверг не мои, а твой очередной золотой сон. Конечно, честь безумцу, но как бы мне хотелось очутиться снова с тобой на даче, без всякого четверга, и лежать на соломенном матрасе на терраске, где окошко без рамы, и небо в нем как будто вырезано картинкой, и мы бы все обсудили и обговорили бы, что произошло, и я бы не лежала как дочь Едома из земли Уц, читая эту идиотскую "Иностранную литературу". Остается надеяться на то, чего избежать невозможно, и поэтому придет само, когда и прекратиться невозможно и продолжаться бесполезно. Как же мы теперь встретимся? Кстати, на фотографии, которую ты прислал, у тебя такой иностранный вид, что если бы не твой старый пиджак, который спутать невозможно, я бы подумала, что тебя подменили. Я на самом деле начала писать тебе это письмо вовсе не для того, чтобы жаловаться на головную боль, а чтобы объяснить одно событие в нашей общей жизни в связи с Налитухиным. И все никак не решаюсь тебе об этом рассказать. Может быть, потому что слишком много времени прошло. А может, потому что сейчас ты это поймешь совсем не так, как это было, и будешь именно этим объяснять мое решение не ехать с тобой. Кстати, а может не кстати, я послала тебе ко дню рождения будильник, получил ли ты его? Не слишком остроумно, но, все-таки, не надо его разбирать, как Налитухин: в нем нет никакой контрабанды с ручья Безолаберного. Еще раз целую".

Если бы сейчас, не вставая с кресла на колесиках, Четверган оказался бы на этом четверге, его первой фразой была бы: "Ого! столько народу, и все как один говорят по-русски?"

Окончание в следующем номере.

Гелий СНЕГИРЕВ

Светлой памяти Ленушки Киселева
посвящает автор

АВТОПОРТРЕТ

Соцреалистический антироман

Человек — это память.

Память — это встречи.

Были встречи.

В каждой я поместился весь.



ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ И СЛУЧАЙНАЯ

— Ну, поезд попался, возле каждого столба отдыхает. Скорый, называется. А другим не выедешь. Пробовали билеты достать — кончаются каникулы, завтра в школу, детворы полно, по ученическим по дешевым едут из гостей. А тут еще снегопад вон какой, заносы. Спасибо еще, на этот достал. Ничего, подремлем немного, а часа в два и дома. Когда он приходит, в час пятьдесят шесть? Только вот, как ночью с вокзала? Трамвай уже не ходит, троллейбус еще раньше. Автобус — какой же, мне в центр самый, а вам тоже? Ничего, как-то доберемся, такси возьмем. Да, пожалуй, по такой заварюхе и такси не захватишь. Еще чашечку? Да нет, хватит мне, оно винцо крепкое, а я не того, нельзя мне, затылок потом чисто отваливается. Ну, капните на донышко для компании. Да что же вы, гостинца домой купили и до дому не довезете? Есть там еще в сулейке? Приятное вино. Берите мясо, вкусное, копченый окорок, берите-берите, закусывайте. Как-то доберемся, у вас вещей — одна сулейка? Ну, у меня тоже рюкзак да авоська, в случае чего пешком дотопаем и все дело. Не страшно. Я в самом

центре, возле театра. Скоро переезжать буду, приглашали в райисполком, сказали, пакуй вещи. Нет, в центре не дадут. А я и не гонюсь за центром. Мне теперь уже что, воздуху побольше, тишины, а тут у меня конура совсем. Старый дом, одноэтажный, сносить давно пора его. Сыро, машины целую ночь под окнами. Уже все соседи выехали, я последний остался. Скромничал, знаете, не просил, не настаивал. И привык уже. Я ж в этой комнате сколько, с сорок четвертого. Как выпустили, вернулся, дом, где трехкомнатная квартира у меня была, сгорел в войну, дали эту конуру. Ну, а относились как, хоть и выпустили тебя, а все равно скажи спасибо и помалкивай. Мне полная реабилитация в пятьдесят восьмом пришла, когда и ему. Нет, нет, больше не буду. Себе наливайте. Пейте здоровы, мясо берите, режьте, режьте, закусывайте. Я бы чайку попил, пойду спрошу у проводницы, может, не остыл еще.

— Вот вы расспрашиваете, выпрашиваете, заинтересовались стариком. Так, из любопытства, или дело какое имеетесь? Да мне-то что, вы меня не знаете, я вас не знаю, случайные попутчики и все дело. Да и не те времена теперь. Вам выпросить интересно, а мне и порассказать хочется. Постариковски. А чего мне скрывать. Мне скрывать нечего.

За что? А за что брали? Крупного руководителя брали, личного секретаря и охранника гулять не оставляли. Порядок такой был. Да, по тридцать седьмому, только меня уже в тридцать восьмом, восьмого мая. Его тридцатого апреля, под самый праздник, а меня через неделю. Вот спрашиваете, за что. Уже так примерно через полгода — я все к тому времени перенес и все порядки узнал, сперва возили с места на место, потом на Лукьяновке в одиночке держали, допрашивали, потом на Короленка привезли, — вызывают на допрос. Сам заместитель наркома НКВД, забыл его фамилию, армянин был. Кричит: "Признавайся сразу, куда на явки его возил, говори, в Донбассе, в Москве, тут куда возил, как ему баб поставлял, признавайся!" Я уже знаю, будут бить. А все-таки говорю: "Гражданин

заместитель наркома, вы же его знали, он к женщинам никогда ничего, одну жену свою подругу знал и любил, жену и семью. И вы же сами, гражданин заместитель наркома, в органах начальник, хорошо знаете, один я при нем никогда находиться не мог, всегда другие следили рядом". Кричит, кулаками перед носом размахивает и все дело. А меня, когда взяли, уже три шпалы из петлиц вырвали, подполковник был. У меня вот тут фотографии, приглашали в Москву, так попросили, чтобы все, какие есть, взял с собой. Вот сохранилось с тех времен. Отобрали все, уничтожили. Нет, что вы, сам ни одной не порвал, все, что можно было, берег. У меня много было, где мы с ним вместе, ни одной не осталось. Вот я какой был. Вот еще, курсантом. Что вы думаете, тридцать лет в армии, семь в частях и двадцать три в органах. Лейтенант, это я еще в общей охране ЦК, при нем я с тридцать третьего. У него были Сашка Логинов и другой Сашка, вот забыл, как же его. Ну, да вспомню. Второй этот Сашка заболел что-то, вызывает меня начальник охраны — "Назначаем тебя в личную охрану к первому секретарю, смотри, мол". Слушаюсь, оправдаю доверие, а самому, знаете, страшновато стало. Вот тут уже со шпалой, это в тридцать четвертом, в тридцать шестом вторую повесили. А вот уже с тремя, это в тридцать седьмом, когда мы в Москву переехали. Эту самую портупею с меня тогда седьмого мая стащили и гимнастерка та. Не только вы, и раньше мне говорили — что у тебя на всех фотографиях глаза такие грустные, красавец, мол, воин, плечи — во, грудь колесом, а глаза печальные. Не знаю. От природы, наверное. Грустить им некогда было, смотри зорче днем да ночью — и все дело. Много было фотографий. В Москве тогда как раз на Столешниковом переулке почти возле Петровки фотограф такой был — Напельбаум. Ну, он как бы придворный. Всегда все правительство у него фотографировалось. У него целый музей был, портреты по стенам, портреты в рамах, знаете, командармы, наркомы, красивые все. Нет, его не тронули, он уже после войны стариком умер. Помню, в тридцать седьмом переехали мы в Москву, для газет портреты нужны — заместитель председателя, нарком. Приехали мы к Напель-

бауму, Степан Викторович* его давно знал, и в Киев не раз вызывал, и на дачу я его привозил, там фотографировались. Когда Степану Викторовичу в Харькове первый наш фотоаппарат "Фэд" подарили, так Напельбаум ему объяснял, как фотографировать. А он мне потом тоже показывал. Ну, у меня времени учиться не было. С медной гравированной дощечкой был "Фэд". Мы, когда в Харьков наведывались, всегда в колонию Дзержинского туда ездили. Интересовался он всегда детьми. И в колонии имени Горького, там, знаете, в Куряже, подолгу всегда ходил, смотрел, с пацанвой разговаривал. А куда тот "Фэд" делся, я и не знаю. И куда все вещи девались. Мы когда в Москву переехали, вещи из Киева перевезли в ящиках. А квартиру, что им выдали, ремонтировали. В Кремле дом такой есть, он и сейчас стоит, Потешный дом — называли его, там члены правительства жили. Наша квартира как раз окнами на это длинное здание, как его, ну, на площади, напротив гостиницы "Москва", Манеж, вот. Прямо окнами на Манеж выходила. Мы пока жили в гостинице этой, визави от "Москвы" через угол, во-во, в "Национале". А ящики с вещами все сложили в церковушке, она под склад была приспособлена. Вот тут у Спасских ворот слева такая, стоит и сейчас. Сложили все там, и я коменданта того склада помню. И не забирали, ждали, пока ремонт кончат. Так ящики нераспечатанные там и остались. Я вот сейчас пробовал найти следы, ходил, смотрел. Пока ничего. В ЦК напишу. Сейчас про него книгу пишут, кинофильмы снимают, пусть и вещи его разыщут. Может, что спасти удалось. Ах да, вот видите, начал говорить и забыл про что. Приехали мы к Напельбауму. Напельбаум обрадовался, даже прослезился, руку трясет и ему и мне, ведет в комнату. Тут у него и ателье, где фотографировать, и музей этот самый. Как поживаете, как Елена Семеновна, как Саша, Витя, смеются, вспоминают. Потом вдруг Степан Викторович замолчал. Я смотрю на него, а он вот так перед стеной стоял, где в рамах портреты висели. Всег-

* Автор счел нужным изменить подлинное имя. Речь идет о Станиславе Викентьевиче Косиоре.

да вся стена снизу доверху увешана была, в военном, штатском, группами портреты — а тут стена больше чем наполовину пустая. Вверху еще портреты густо висят, по бокам тоже, а в самом центре совсем пустого места много. Там, где портреты висели, только светлые квадраты остались. И его, Степана Викторовича, большой портрет в раме висит. Так он стоял и смотрел, на стену или на свой портрет. Он маленький ростом был, широкоплечий, коренастый, плотный, а тут ссутулился, как будто даже похудел и вытянулся. И Напельбаум замолчал, растерялся, а может, испугался, то на него, то на стену моргает. Потом круто так он повернулся, ни на кого не глянул, быстро подошел к креслу, сел, говорит — "Давайте, товарищ Напельбаум, фотографируйте, некогда, времени мало". Предчувствовал он или нет — я уж не знаю, не делился он со мной. Знаю только, когда переехали мы в Москву, как подменили его, совсем не тот стал. То раньше всегда шутит, быстрый, как пружина скрученная, а тут мрачный ходит. И часто стал задумываться так, лицо вправо отвернет, глаза в одну точку и левой рукой двумя пальцами горло вот тут под подбородком щупает. Может, и предчувствовал, хотя из Киева мы с легкой душой уезжали. Помню, на сессии той, когда стало известно, что перевели его в Москву, вышел он из зала веселый, улыбается. Папку мне свою отдает, я всегда ее при себе держал, а потом, когда потребуется, ему вручал. И говорит: "Товарищ Кондратенко, сейчас обедать, а потом позвоните в Киев, скажите Елене Семеновне — пусть пакует вещи, мы с вами едем через три дня сдавать дела". Через три дня поехали, передали дела. Нет, тогда еще никто ничего плохого не думал. Вот с Аллилуевыми он дружил, слышали такую фамилию? Бывшая жена Сталина, Сталин застрелил ее. Это теперь мы уже знаем. Отец ее был старый большевик, известный ученый, и сын его, военный командир, танковым корпусом командовал. Они так рядом на Новодевичьем кладбище и похоронены все трое, бывали там, помните? Ее могила, столб такой гранитный с белой женской головкой, вот тут отец, а тут сын. Часто Степан Викторович к ним приезжал. Со стариком поговорить любил и с

сыном дружил, и раньше, когда в Киеве были, и потом, когда переехали. Ну, он же понимал, что это Сталину может не понравиться, дружба с Аллилуевыми, а вот ездил, значит — ничего не подозревал плохого. А мог бы и подозревать. Он Сталину возражал, на заседаниях Политбюро правду всю говорил, это еще раньше, когда тридцать третий был и после голода хлебозаготовки проводили. Вы человек еще молодой, не помните тридцать третьего. И слава Богу. Хоть бы его и себе забыть. Проклятый год. Степан Викторович сам руководил хлебозаготовками, в районы выезжал, часто взбучку давал за то, что подчистую хлеб выметают, даже семена не оставляют, снимал за это начальничков и в районах и в областях. И на заседаниях Политбюро докazyвал, что нельзя так, при самом Сталине прямо говорил. Даже телеграмму один раз такую на имя Сталина послал: "Пора упорядочить хлебозаготовки и наладить работу кооперации, ни в коем случае нельзя отпугивать колхозника и обозлять единоличника". Сидел я за своим столом, звонок, вызывает. Вручил мне — отправить. Есть. Отнес в особый отдел, отпечатали, отправили и все дело. А знал ли он всю правду про Сталина, тоже не скажу вам. Еще в Киеве, когда стали брать многих руководителей, часто к нему нарком НКВД ездил, подолгу вдвоем заседали. И он часто в НКВД уезжал, мне его внизу ждать полагалось. Сидел раз, смотрю, секретарь обкома, вот забыл фамилию, ах ты, вспомню сейчас, ну как же его. Забыл. Секретарь обкома был, молодой, часто я ему у себя в приемной пропуск отмечал. Смотрю, ведут его. Без пиджака, рубаха белая и сам белый, видно, только взяли. Увидел меня, руку протянул, крикнул: "Скажите же Степану Викторовичу!" А я, что я мог? Враг народа — и все дело. Отвернулся я. Его конвойный подтолкнул, он заплакал громко, как засмеялся, и увели. Не думаю, чтоб он знал всю правду. Вот возьмите, Орджоникидзе хоронили, я же все время рядом с гробом был. Степан Викторович тут, и я рядом возле него. А не знал, и никто из ребят не знал, что Орджоникидзе застрелился. Хоть между нами болтать не полагалось, а все равно делились между собой, кто кому доверял. Не знали и все дело. Опять ча-

шечку? Ну, так и быть, половинку налейте, только последнюю, остальное домой, домой. Подождите, я пойду еще чаю спрошу.

— А вот Степан Викторович не пил. Курил много, старался сдерживаться. И Елена Семеновна всегда просила, даже мне тихонько говорила: "Вы, товарищ Кондратенко, старайтесь его удерживать, напоминайте, что, мол, Елене Семеновне обещали, старайтесь отвлечь или просто не давайте, если просит". Ну, как я могу не дать. Приедем в район куда или на завод, он разнервничается, что-нибудь не так, там те же самые хлебозаготовки или с углем. Сердится, иногда тон повысит, не матерился никогда, не оскорблял грубо, ну а тон повышал, что поделаешь. Руку в карман, а папиросы забыл, он вот так, не оборачиваясь, руку ко мне. Я сразу из кармана "Казбек", он "Казбек" курил, а потом на "Нашу марку" перешел, не помните, наверное, такие бело-оранжевые коробки выпускали. Сам я никогда не курил, а для него всегда клал в карман. А пить не пил. Зимой из района приедем, намерзнемся, сбросит свой тулупчик — у него для района любимый кожушок был, черный, дубленый, с застежками такими широкими через полу и с белым, вернее серым, воротником. Руки потирает, хукает, к буфету подойдет и рюмочку коньяку примет. Одну с морозу — и все дело. Одевался как? Да никак. Чисто, аккуратно, заставит его Елена Семеновна костюм справить, наденет и — пока ему конец придет. Зимой сапоги, летом ботинки, фуражка, последний год зимой серую папаху носил. Скромно жили. Квартира у них была на Левашовской, вместе с ними жили истопник, Горин по фамилии, повариха и Галя, горничная. Да, так и называлась — горничная, к столу подавала, убирала в квартире. Молодая девушка была совсем, работала у них и училась на рабфаке. Сейчас она магазином заведует, захожу к ней иногда. Елена Семеновна как к младшей сестре к ней относилась и учиться помогала. Детей трое было, Таисья старшая, Витя и Сашка. Воспитывались строго, не баловали ни в чем, задаваться не позволяли перед другими детьми. Ну, Сашка, правда, сорвиголова был большой. Степан Викто-

рович любил сынов, уроки всегда сам проверял, книжки читал с ними, иногда вечером возню затеют, аж ребятам из комендатуры на первом этаже слышно. Там на первом этаже комендатура была, охрана. А я жил отдельно, на Владимирской. Провожу вечером, попрощаюсь с ребятами, как говорится, а утречком опять тут как тут. Ну, как водится, это у всех такое правило было, с артистами, с писателями дружил. В театры мы часто ездили. Вот, не хочу называть фамилию, сейчас он известный и знаменитый и все такое дело. А тогда был, ну, для примера сказать, Вася. В доме у нас часто бывал, Вася пришел, говорят. Так вот, смотрели в театре его пьесу. Не помню уже, про что там, у меня своих забот хватало. В правительственной ложе Степан Викторович с Еленой Семеновной, Иван Петрович и Петр Иванович с супругами. А мы сзади возле дверей, я и еще двое ребят. И за дверью следишь, помощник там чей-нибудь войдет, доложит что-нибудь, и с зала глаз не спускаешь. В зале народу полно. А в первом секторе партера через одного наши ребята, так и билеты продавались. Поднимется кто посреди действия, сразу наш один встает, вместе с ним выходит. Это как раз после убийства Кирова вскоре было, тогда, знаете, строгий порядок сразу у нас навели. А там за дверью в коридоре Вася наш ходит, автор-именинник. Ему в ложу не полагалось, так он там и ходит, прислушивается под дверью. Ну, я выйду в коридор, он со всех ног ко мне: как, что сказали? А мне же слышно, о чем они там между собой по ходу этой пьесы переговариваются. Говорю, Иван Петрович наклонился вот так к Степану Викторовичу и сказал так-то. А потом, говорю, когда там на сцене старушка что-то рассказывала, так смеялась Елена Семеновна. А Петр Иванович сказал, что вот так неправильно, а надо вот так. И Вася наш тут с места как сорвется и побежал сразу на сцену переделывать. Теперь он большой человек, а хотел бы я его встретить когда-нибудь, напомнить этот случай. Может, ему б и не понравилось, а все равно напомнил бы. Да. Что, не пора ли спать, а? Нет-нет, хватит и вам хватит. Пить хочется — а вот чай остыл. Пейте и все дело. Вот так, а я этот свой допью.

— Ну, как же, что вы, конечно, нужна была охрана. Я же, собственно, так и назывался: личный телохранитель. Я и секретарь был, в приемной дежурю, бумаги на подпись, вызвать кого. Всякое бывало. Один раз чуть настоящей беды не случилось. Мы, когда выезжали, с нами обязательно еще одна машина шла. Если в городе, мы впереди, машина сзади. Шесть наших ребят в машине. А если в район, машина впереди, а мы сзади, и с нами начальник областного НКВД садится и секретарь обкома. Степан Викторович впереди рядом с шофером, я позади него. Обязательно позади него и рука на дверной ручке, если что, успею выскочить и прикрыть своим телом, так нас и инструктировали. А он же как любил ездить, отправляется в район и никого не предупреждает. Ну, тут уж нам полагалось поставить в известность, кого следует. В областной центр заезжаем, садятся к нам секретарь и начальник НКВД и поехали. Не в райцентры, а сперва по колхозам. Никто и не ждал нас, а мы тут. Я вам скажу, мне так даже и спокойнее, преднамеренное покушение исключается. А потом в райком приезжаем, уже не местное начальство нам докладывает, а мы ему. Мол, вот как у вас, голубчики, дела обстоят. Мы-то знаем, а вот знаете ли вы! Тот тык-мык, краснеет-бледнеет, а возразить нечего. Ну, он только в самом крайнем случае крутые меры принимал, снять там или из партии исключить. В Донбассе часто мы с ним приезжали, тогда ж "давай стране угля" — первый лозунг был. Он на каждой шахте вниз лезет. Робу ему, вся свита за ним. Ну, и я лезу, впереди. Не один, еще ребята, под землей, смотри, и обвал может быть и засада какая-нибудь, не видно, всего жди. Раз, помню, в Горловке дело было, спустились в забой. Сидят шахтеры, не работают, смотрят на нас хмуро. Управляющий трестом — или как тогда называлось, трест или центральное управление, менялись названия каждый день, все реорганизации проводили. Так управляющий кричит: "Чего сидите, не работаете?" Один посмотрел на нас, усмехнулся, зубы блеснули, и черным пальцем на потолок этой лавы показывает. А там селедка привязанная висит, рот у нее растянут и в рот с потолка вода капает. "Вот, говорит, мы селедку повесили, а она тощая, так мы ждем, когда она от

воды поправится, мы ее тогда пообедаем и пойдем уголек рубать". Управляющий растерялся, молчит. И все молчат. И Степан Викторович ничего не сказал. Пошли мы обратно. Уже в клетки говорит управляющему: "Кричать не надо, на пустой желудок в шахте не наработаешь, сам шахтерил, знаю". Пришли мы в трест, или там управление, ни разноса не устраивал, не кричал, сказал только: "Да, тяжело вам". И уехали мы. И только приехали в Киев ночью, сразу с вокзала в ЦК. Наркома продовольствия с постели подняли из-под одеяла, всех угольных начальников тут же ночью к нам. И на другой день команда во все области: что бы там ни было — дать Донбассу продукты, от себя отрывайте, а Донбассу дать! Вот видите, опять в сторону увело, рассеянный стал, голову душит вот тут в затылке. Да-да, расскажу, расскажу еще этот случай, чтобы вы не думали. Да. На отдыхе мы были, на Кавказе, в Хосте. Каждый день почти выезжаем кататься, он, Елена Семеновна. Вот раз едем. Он сидит впереди, я за ним, Елена Семеновна рядом со мной. Повернули в горы уже, на подъем идем, дорога петляет. Я оглядываюсь, вижу, как раз такой прямой участок дороги попался, из-за предыдущего поворота легковая машина выскочила. Ушли мы за поворот. На новом повороте опять ее вижу, быстро едут, приближаются. Виду не подаю, стараюсь, чтоб даже Елена Семеновна не заметила. Еще они приблизились, догоняют, ну, мы всегда на прогулке неспеша ездили, Елена Семеновна всегда просила. Машина тоже открытая, мне хорошо видно, кто там сидит. Сидят шесть человек, вперед молча смотрят, все черные, смуглые, местные, видно. И так они, знаете, смотрят, ехала бы компания на прогулку, так по сторонам бы глазели, улыбались, красиво же кругом, виды природы какие. А эти в нашу машину глазами нацелились и молчат. И догоняют. А позади нас наша машина шла. Да, как всегда, вторая машина и шесть ребят моих. Сразу за нами шла, та чужая уже как раз почти ее догнала, сигналы я слышу, обогнать хочет. Ну, тут я кладу правую руку на борт, локоть вот так выставил. Это, я вам расшифрую, такой у нас условный знак. Ну, в общем, знак опасности. В данном случае — приказ ту машину остановить и изолировать. Ребята меня поняли,

на повороте поставили машину свою поперек дороги. Дорога узкая, не проедешь. А тут как назло Степан Викторович красивый водопад увидел. "Остановись, — шоферу говорит, — сфотографируемся". Подошли они к обрыву, совещаются, где лучше стать, чтобы сфотографироваться вдвоем, чтобы я их, значит, фотографировал. А я смотрю, там возле этих машин что-то происходит. Мои ребята вышли, и те на них идут. Мои пробуют задержать, что-то говорят, а те напирают и приближаются. Степан Викторович как раз на водопад внизу "Фэдом" нацелился, а Елена Семеновна оглянулась, увидела и бледная стоит. А те прут, и мои ребята их остановить не могут. Тут я Степану Викторовичу к спине спиной, Елену Семеновну тоже плечом загородил, руки в карманы. В карманах у меня два маузера. А те прут, уже совсем близко. Ну, тут ребята мои поняли, что их добром не уговоришь. Сразу джиу-джитсу, револьвер в живот. Степан Викторович заметил, что я спиной к нему стою, обернулся, смотрит. Я говорю: "Пожалуйста, садитесь в машину, проедем вперед". Он ни слова не сказал, пошел к машине, послушался сразу. Уехали мы. Ну, ребята тех забрали, доставили в управление. Доказывали все — отдыхающие мы. Ну, они не отдыхающие были, это я вам точно говорю. Это ж как раз после убийства Кирова было. Нет, оружия при них не обнаружили, а может и выбросить успели. И все дело. А про убийство Кирова я ему первый докладывал. Тоже мы на Кавказе были, в Хосте отдыхали, в конце тридцать четвертого. У нас же отпуск зимой всегда. Помню, поздно ночью машина зашумела возле ворот, голоса приглушенные. Я вышел, вахтер докладывает: начальник областного НКВД приехал. Поздоровались, спрашивает, где Степан Викторович. А он как раз заснул уже. Спать он всегда поздно ложился, не раньше трех. В три ложится, а утром в одиннадцать мы уже с ним в ЦК. Да и то, если б он позволял себе отсыпаться, когда б он все успевал. У него же одних книжек, им сочиненных, штук семьдесят было. Тоненькие и не очень тоненькие. И о Донбассе, и о колхозных делах, и о пионерском движении, и все сам писал. Да, вот про убийство Кирова. Начальник управления НКВД приехал ночью и говорит — надо разбудить. А в чем дело, спрашиваю.

Так и так, злодейское убийство Сергея Мироновича Кирова. А тут Елена Семеновна как раз не спала чего-то, вышла к нам. Я ей докладываю: случилось большое для страны несчастье, убили Кирова, надо будить Степана Викторовича. Она побледнела, пошатнулась, я ее усадил, воды подал. Пришла в себя, посмотрела на меня так, не сразу сообразила, и говорит: "Не надо будить, утром скажете". Хорошо, утром. В восемь часов я его караулю. Выходит он. Я подошел, руку под козырек, вытянулся, он же комиссар первого ранга был, четыре ромба в петлице. Докладываю: "Товарищ комиссар первого ранга! Большое несчастье в стране случилось, злодейски убит товарищ Киров!" Он ничего не сказал, не вздрогнул, не побледнел. Долго так стоял, на меня смотрел, а я все навтыжку. Потом тихо сказал: "Вагон в Москву к первому на отправление поезду". Я начальника управления оставил при нем, тут и ребята мои, а сам в Сочи, в ГПУ дороги. Сразу наш вагон подали в Хосту, погрузились и поехали. И вот он тогда в вагоне простудился — ангина, грипп, температура высокая, бредит. И его прямо с вокзала в Кремлевку. Тулупчик его вот тот на застежках с белым воротником надели, валенки, сверху в доху завернули и повезли. И он на похоронах Сергея Мироновича Кирова не был. Если вы помните газеты того времени, ни на фото, ни в списках почетного караула его нет. Болел он. А они большие друзья были, крепко дружили. На съездах в кулуарах всегда рядышком ходили. Оба невысокие, одного роста, коренастые, только у Кирова пышные волосы, а Степан Викторович бритый наголо. Вот так ходят, беседуют, вот тут они, и я рядышком чуть в сторонке, и Кирова ребята тут же, все знакомые. И вот не был он на похоронах. А я рядом с Еленой Семеновной стоял. Когда урну с прахом к кремлевской стене пронесли, вот тут мы с ней справа от ворот, слева от мавзолея были. Я вытянулся, честь отдаю. А я видный из себя был, рослый, так ребята потом говорят — "тебя, говорят, зафотографировали". Видел себя потом в журнале. Лицо, знаете, такое, одним словом, трагическое лицо. Мне и правда тогда стоило труда сдержаться. Елена Семеновна стоит плачет, и мне, знаете, не легко. Нет, нет, хватит, не могу, давайте

ложиться, два часа осталось, хоть немного поспать. Не усну я уже, наверное, затылок совсем разваливается. Ну, попробую.

— А его с поезда взяли. На Северном Кавказе, в Нальчике. Чего-то ему тогда Сталин вне всякой очереди отпуск дал, как раз под Первое Мая. Елена Семеновна и дети просили — останемся на майские, потом поедem, дети на парад любят ходить, а тут еще в Москве первый раз. Нет, поехали в отпуск, отдыхать. В Нальчике вошли к ним в вагон. Я не с ним был в вагоне, с ним Сашка был Логинов. А я в соседнем. Как же это было, забыл. А чего мне скрывать, мне скрывать нечего. Ага, вот видите, вспомнил. Отцепили наш вагон, отъединили от того. Потому я и вмешаться не мог. Нет, не разоружили. Меня уже через неделю разоружили и три шпалы из петлиц выдрали. А там только показали ордер на арест. Вот кого вы охраняли. Враг народа. И нас в охрану к тому же вагону. Представляете, как это мне было? А его, жену и детей тем же вагоном назад в Москву. И с вокзала в трех разных машинах повезли. Я часто думаю, что он в том вагоне по дороге назад в Москву передумал и пережил. Не дай Господь никому. Дайте мне руку. Вот тут, вот. Чувствуете? Пощупайте, не бойтесь. Вот тут бугор, вниз от уха, вот, по затылку. И вот тоже, от этого уха. Не знаю, что за опухоли, кость выперла. От палок. А в футбол по камере мной не играли? А пальцы в дверь? Своего же своя инквизиция. А с ним что делали, мне даже подумать страшно. Мне вот сейчас сестра его жены рассказала, разыскала ее. Долго сидели, вспоминали. Верите, сидим, говорим, два взрослых человека, и слезы все время бегут-бегут. Так она рассказывает, когда реабилитация пришла ему, пошла она на прием к... ну, не буду называть его, хоть и покойный уже, догадывайтесь сами, а называть не стану. Тоже большой человек был, они раньше со Степаном Викторовичем дружили, долго работали вместе рядом. Пошла она насчет себя, насчет дочек, мужа ее тоже тогда сразу после нас забрали и не вернулся. Просила, чтоб квартиру вернули, с работой помог. Принял ласково, обещал. И помог сразу, все сделали, квартиру, прописку, все. Пошла она к нему

еще раз по какому-то делу. В этот раз, говорит, долго беседовали, уже совсем откровенно, а потом он ей и сказал. Знаете, говорит, как я последний раз Степана видел? Вот так было. Сообщают мне, говорит, что Степан, уже арестован он был, донес на меня, что он в двадцать четвертом году завербовал меня в польскую разведку. И вижу, говорит, начинают от меня шарахаться. Тогда ж, вы понимаете, чего стоило такое обвинение. Я, говорит, к Сталину, так и так, требую очную ставку. И Сталин согласился. Не знаю, так оно было или не так, ну она, Татьяна Семеновна, так рассказывала с его, значит, слов. Сидят Сталин, Молотов и я, говорит он, сiju. И вводят его, Степана. Я его, говорит, не узнал. Весь распухший, обросший, лицо от синяков черное, штаны без пуговиц и он их руками поддерживает. Вошел, пошатывается, остановился и в угол комнаты смотрит. Я, говорит, к нему. Степан, как же ты мог так на меня клеветать, зачем же ты меня оговорил, когда ты меня завербовал, в какую разведку, опомнись! Он, говорит, долго-долго на меня смотрел, будто узнать пытался, потом одну руку от штанов отнял, махнул этой рукой и сказал: "А это было давно". И больше, сколько, говорит, ни бились, ни слова не сказал, только в угол комнаты на пол смотрел. И все дело. А меня? Меня в сорок третьем выпустили, кадровых офицеров-энкаведистов не хватало и все дело. Давайте поспим.

Впереди шел грузовик. Фары их "Волги" заливали белым задний борт и людей. Люди сидели вдоль боковых бортов, человек семь или восемь. Кто-то в черном, кто-то в сером, на ком-то фуражка, у кого-то темные длинные волосы на ветру, словно бы женские. Голова с этими длинными темными волосами нырнула куда-то в середину кузова.

Из них, четверых, сидевших в "Волге", на это не обратил внимания никто. Фары "Волги" отлепились от заднего борта грузовика и помчались вперед в темноту.

Посреди кузова что-то поднялось светлое в полосах и исчезло, и то вздымалось опять, то опадало, как если бы кто-то пробовал улечься под старый сенной матрац. Этот сенной матрац, а может не сенной, а ватный, высоко вскинул-

ся, опустился, вскинулся еще раз, еще выше, и долго трепыхался над кузовом, как если бы тот, кто лежал под ним вверх лицом, пытался поднять его ногами посредине и как следует взбить, распушить сено или вату. Опять матрац опустился и коротко вскинулся еще раз. И тогда там, где должно было быть лицо человека, боровшегося с матрацем, вскинулся затылок с короткими светлыми всклокоченными волосами. Рядом взлетел кулак и резко упал, взлетел еще и опять упал, и опять упал. И вместе упала голова. И еще раз невысоко вскинулся светлый в полосах матрац.

А семь или восемь в грузовике неподвижно сидели вдоль бортов, и нельзя было понять, смотрят они в середину кузова или нет.

— По-моему, там издеваются над женщиной.

Это сказал Ваня, молодой парень, которого им выделили в сопровождающие. Он сидел впереди рядом с шофером. Шофер что-то промышчал и просигналил коротко три раза. Люди в грузовике не обернулись и не пошевелились. Грузовик вильнул вправо, уступил дорогу.

Четверо в "Волге" молчали. И не смотрели друг на друга. Шофер пошарил рукой и включил приемник. А потом сказал:

— Где-то здесь должен быть наш поворот налево.

И они все стали внимательно смотреть вперед.

Утром один из двоих, что сидели на заднем сидении "Волги", сказал второму:

— Знаете, не гоже фронтовику, а у меня все время перед глазами этот матрац и кулак над головой. Не той головой, что была вверх затылком, а той, что лежала вверх лицом. Точно, там женщину насиловали.

— Ерунда, — сказал второй. — Я тоже об этом все время думаю и уже начинаю злиться на себя за это. Хорошо, что вы заговорили. Это, как мелодия, которая прицепилась — "режьте, братцы, режьте, режьте осторожней" — поделитесь ею с другими, и она уйдет. Хватит, кончили на этом. Поговорили и забыли. И кроме всего прочего, это наш собачий бред, ни черта там не было. Вот так бы спокойно в свете наших фар они все это проделывали!

— Некоторые умеют все это очень спокойно проделывать, — сказал первый. — И все-таки, почему...

— Хватит! — крикнул второй. — К чертовой матери, слышите?

— Пожалуй, хватит, — сказал первый.

БИБЛИОТЕКА "ВРЕМЯ И МЫ"

1. **КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ СЕРИЯ** - включает все номера журналов, выпущенных за последний год (с 7 по 20 номер), а так же следующие книги: Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" (2 книги "Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии (Книга о Войне Судного дня 285 стр., 40 фотографий, изд-во "Карив"). Всего 18 книг. Стоимость при заказе в редакции 298 лир, за границей — 35 долларов, включая доставку. Возможна оплата тремя чеками. Стоимость в магазине — 320 лир.

2. **КНИЖНАЯ СЕРИЯ** - Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" ("Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии, изд-во "Карив", всего 4 книги, стоимость 98 лир, за границей — 15 долларов, включая доставку. Стоимость в магазине — 120 лир.

3. **ИЗБРАННАЯ СЕРИЯ** - включает лучшие произведения, опубликованные за последний год в журнале "Время и мы": Зиновий Зиник "Извещение" (журнал № 8), Борис Хазанов "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" (журнал № 9), А. Б. Иошуа "В начале лета - 1975" (№ 10), "Сладкая жизнь Никиты Хряца" (№11), Борис Ямпольский "Большая эпоха" (№ 13), Борис Бахтин "Ванька Каин" (№ 14), Олдос Хаксли "Счастливый новый мир" (№16, 17, 18) — всего 9 журналов, стоимостью 150 лир, за границей - 17 долларов. Стоимость в магазине — 170 лир.

Заказы с указанием серии присылать по адресу: ул. Нахмани 62/9 Тель-Авив. К заказу должен быть приложен чек на соответствующую сумму.

Анна ГОРБУНОВА

КОЛЬЦО ЗАПРЕТА

МОНОЛОГ*

И снова ночь.

И пальцы тяжело
сложить в щепоть,
проговорив молитву.

Шершавый лоб усталостью свело.

Но вот опять оконное стекло
неразгладимой теменью налито.

На поздний свет слетится мошкара.

О, отведи от глаз моих заботы!

Я буду ждать

до завтра, до утра,
пока рассвета детская игра
сухие губы не сведет зевотой.
Я буду жить до завтра, до утра.
Услышу, как у старого колодца
пустым ведром гремит моя сестра
и как тугая влага из ведра
в тяжелый таз благословенно льется.
Чего еще мне по утру желать?

*Из поэмы "Кольцо Запрета".

В глазах ломота памяти остынет.
Но как скрипит тяжелая кровать!
О, дай еще до утра дошагать,
дай тронуть землю пальцами босыми!
Вновь ощути себя среди толпы,
внутри толпы,

смеющейся, спешащей,
над гладкостью асфальтовой тропы
рублями и газетами шуршащей.
Вновь ощути неровный ритм ее,
как шарканье, и кашель, и одышку,
как вход в метро,

как выход в бытие,
как смутного отчаяния вспышку.
В ней растворись

и различи людей,
болезни их, смиренность и злословье.
За вдохом вдох — опустошенно пей
дым суеты и свет людской любви.
И посмотри: живет толпа, спешит,
и на пути к людскому совершенству
сама себе кумира сотворит,
взрастит пророка и назначит жертву.
Истоки братства. Темнота легенд.
Кровь на ладонях бога-человека.
И топот ног.

И пред тобою нет
иных путей.

Отныне и до века.

Раздвигаю границы событий,
словно занавес, бархатный, синий.
И прожектора пыльные нити
вслед мне ринутся роем осинным.
Пятна света ложатся неровно.
И, не видя связующей нити,
благодатным понятием "условность"

тешит нервы взыскательный зритель.
 Все условно: от взгляда и жеста,
 гладких слов о величьи свершений
 до звезды из раскрашенной жести,
 плача труб и привычных лишений.
 Что нас ждет за несказанной фразой,
 за забытым значеньем пароля?
 Снова тщетно пытается разум
 разобраться в назначенной роли.
 Но ослепнув от взглядов упорных,
 но глаза закрывая руками,
 вдруг услышишь, как зал полутемный
 разразится, помедлив, хлопками.
 Значит, все. Одарили спасеньем.
 Боль провала прощением смыта.
 Только время сгущается в темень
 и последняя фраза забыта.
 Срок забвения мифов нестойких.
 Краткий век

неумелых страдальцев,
 словно плод, незрелый и горький,
 каменеет в слабеющих пальцах.

Марат ВЕКСЛЕР

КАРТИНКИ ЖИЗНИ

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ

— Сидел со мною на Лубянке
 Один работник Наркомпроса:
 Его забрали по доносу,
 Меня — за болтовню по пьянке.

Дней через десять или двадцать
 Нам стало ясного яснее,
 Что правды нет и дьявол с нею
 И в чем-то надо сознаваться.

И он признался на допросе,
 Что по заданию Европы
 Привел в негодность микроскопы,
 Сломав оптические оси.

Пусть выпил я сегодня лишку,
 Но видит Бог — не вру я, братцы!
 Нет сил от смеха удержаться:
 Бедняге все же дали "вышку"...

1956

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ

Ни шагу не ступая без охраны,
Мы по утрам спускались в котлованы.

По вечерам нас заводили в зоны,
А рядом в зонах жили наши жены.

Огни в запретке зажигают рано.
В пургу и в дождь удвоена охрана.

Она стреляет без предупрежденья
Во все живое возле загражденья.

Мы от любви и там теряли разум:
Мы две ограды за ночь по два раза,

Рискуя жизнью, преодолевали...
Мы ради женщин жизнью рисковали.

1956

**ПЕСЕНКА
О РЕАБИЛИТИРОВАННОЙ ДЕВЧОНКЕ**

Изнасиловала рота
Бедную девчонку.
Извозили в черноземе
Блузку и юбчонку,

А потом ее, больную,
Бросили под лавку.
Но назавтра ротный писарь
Написал ей справку.

Невиновна, мол, девчонка —
Вывел без улыбки —
Мол, такая неувязка
Вышла по ошибке...

Бродит бедная девчонка
В поле у овина
И показывает справку,
Что она невинна.

1957

**"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"L'APENSEE RUSSE"**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиачтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

Борис СУВАРИН

СОЛЖЕНИЦЫН И ЛЕНИН

"ЛЕНИН В ЦЮРИХЕ" С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Перевод с французского Б. Литвинова

Новая книга Солженицына "Ленин в Цюрихе" включает ряд глав, являющихся частью монументальной исторической эпопеи, начало которой вышло под названием "Август Четырнадцатого". И хотя писатель называет свое произведение "романом", он все же подчеркивает его исторический характер. Солженицын выражает "признательность авторам за пристальное внимание к событиям, определившим ход XX века, но так старательно скрытым от истории, а по направлению западного развития оставленным в малом внимании". Акцентируя исторический характер повествования, автор недвусмысленно приглашает историков высказать о нем свое мнение.

Но даже и без этого приглашения, критика нового произведения Солженицына с исторической точки зрения явилась неизбежной. Речь идет о современнике, чья фигура возвышается над нашей эпохой, как из-за своего влияния при жизни,

"Est et Quest" Paris 15.1V. 1976, статья печатается с сокращением.

так и в силу неисчислимых последствий содеянного им, и не только в самой России, но и во всем мире.

Солженицын ошибается, говоря о событиях, "так старательно скрытых от истории" и "оставленных в малом внимании". Пребыванию Ленина в Швейцарии и его переезду через Германию в разгар войны, его взаимоотношениям с немецкими властями, посвящена огромная литература, созданная за последние полвека. Это — исторические исследования и мемуары, не говоря уже о трудах политических деятелей и журналистов.

Начиная с 1917 года, потоки "разоблачений", доносов и обвинений представляли Ленина агентом Кайзера, посланцем Людендорфа, немецким шпионом, вернувшимся в Россию в "пломбированном" вагоне, чтобы предать свою страну германскому империализму. При этом уже тут начинаются разночтения. Согласно одним источникам — весь поезд был "запломбирован", согласно другим — поезд был бронированным. Наконец, существует менее распространенная, но тем не менее очень важная (в силу своего происхождения), версия о "вагон-салоне". Что же касается количества немецкого золота, полученного Лениным, то здесь колебания в различии доходят до того, что, по одним источникам, Ленин получил, например, в десять раз больше денег, чем по другим. Пятьдесят лет спустя новые исследования пополняют и без того обильную библиографию. В одном из лучших английских журналов "Энкаунтер" (март 1974 года) Джон Кермайкл повторяет ошибки и неточности своих предшественников, добавляя к ним и свои собственные. ("Немецкие деньги и большевистская честь"). Он доходит до того, что впутывает в это дело даже Троцкого, который не имел к нему ни малейшего отношения. В "Новом Журнале" № 115 (за 1974 год) Роман Гуль пересказывает все, что до него писали обо всем этом Мельгунов, Давид Шуб, Керенский, Георгий Катков и другие ненавистники Ленина. Если ненавистники эти достойны уважения, то это не значит, что их можно считать непогрешимыми, тем более, что их эмоции не помогли им лучше разобраться в исторических фактах. Так или иначе, вопреки тому, что утверждает Солженицын, ничего не скры-

валось "старательно от истории". Наоборот, все было сделано, чтобы привлечь внимание.

До такой степени, что само выражение "пломбированный вагон" давно вошло в обиход, когда речь идет об этом историческом эпизоде. Черчилль пользуется этим выражением в своих "Мемуарах", а Троцкий — в своих воспоминаниях (правда, ставя его в кавычки). Не так давно в программу французского телевидения был включен "отъезд бронированного вагона Ленина" ("Фигаро" 7.IV.1973). И совсем недавно в издающемся в Париже еженедельнике "Русская Мысль" снова повторялся "пломбированный вагон" в рецензии, восхвалявшей книгу Солженицына (16.X.1975), в которой можно прочитать, что Ленин, в один прекрасный момент, мечтал получить за п и р а е м ы й вагон и ехать в Россию через Францию и Англию.

Таким необычным образом Солженицын внес и свою лепту в обширную библиографию более или менее исторических произведений, произведений более или менее тенденциозных, нередко противоречивых, построенных на гипотезах и на толкованиях, не способных заменить доказательств. Правда, он не всегда соглашается со всем тем, что писалось до него. Если бы он согласился со всем, он бы не был Солженицыным. Но его намеки и предположения, нередко даже невысказанные, быть может, и помимо его воли, связывают его со списком упомянутых авторов. И поэтому нельзя по достоинству оценить его книгу не учитывая того, что уже появилось в этой области. К тому же ссылки автора, подтверждающие исторический характер повествования, хотя и не очень новы, тем не менее могут оказать влияние на малосведущего читателя, а таких — огромное большинство. Так, например, "Бюллетень де Пари" (от 2.1.1976) дает очень высокую оценку этому "историческому портрету, созданному на основании богатейших, безупречных, безжалостных документальных данных". Необходимо поэтому разобраться в том, чего же стоят все эти "безупречные" данные.

Заслуги Солженицына исключительны и очевидны. Его свидетельство о советской системе незабываемо, его литературный талант вызывает восхищение у всякого мало-мальски

образованного русского читателя. Он заставил услышать во всем мире крик совести преступно замученного великого народа: "Жить не по лжи!". И ему тоже мы обязаны ответить правдой из уважения к его личности и его творчеству. "Amicus Plato, sed magis amica Veritas".

Ссылки на некоторые фразы или выражения Ленина не могут служить доказательством, как думает Солженицын. В 55 томах полного (и еще далеко не "полного") собрания сочинений Ленина можно найти что угодно, и обратное чему угодно.

Рязанов говорил автору настоящей статьи еще в 1926 году, что можно было бы составить целую брошюру о вариациях ленинской мысли. Русский философ Г.С. Померанц пишет в письме, воспроизведенном во втором томе "Политического дневника": "Суть дела не в источнике цитат, а в структуре сознания, выбирающего цитаты. Можно надергать цитат из Евангелия, чтобы оправдать инквизицию. Можно надергать цитат из Ленина, чтобы оправдать антисоветскую войну". Это совершенно правильное замечание относится также и к "Ленину в Цюрихе". Книгой, названной "Ленинизм" и изданной в 1925 году, Зиновьев — пользуясь большим количеством ленинских цитат — пытался поставить Сталина в затруднительное положение. Но Сталин, с помощью Бухарина, ответил Зиновьеву целой шрапнелью других ссылок на Ленина. Ни одни, ни другие цитаты никого и ни в чем не убедили.

И затем: есть цитаты и цитаты. Другими словами, это вопрос времени, места, обстоятельств. А также и вопрос структуры сознания, как говорит Померанц. Известно, например, что Ленин грубо исказил слова Маркса о религии, утверждавшего, что религия — "опиум народа". В сороковых годах прошлого столетия опиум ценился как обезболивающее средство. Говоря о человеческой нищете, Маркс использовал слова Бальзака, писавшего, что "лотерея была опиумом нищеты". Жорес по своему выражал ту же мысль, когда называл религию "старой песней, убаюкивающей нищету". И если у Маркса "опиум" было понятием положительным, то Ленин придал ему обратный смысл. Ведь почти никто не читал написанное Марксом об "опиуме народа" в его "Критике

философии права", а те, кто читал, вряд ли обратил на это особое внимание. Ленинская бессмыслица обошла весь мир, и все, точно попугаи, ее повторяют.

Можно привести и такой пример: Ленин цитирует Маркса, чтобы оправдать советский режим, отождествляемый им с "диктатурой пролетариата". А между тем под понятием "диктатура пролетариата" Маркс подразумевал нечто совершенно иное, а именно "политическую гегемонию", вытекающую из "всеобщего избирательного права". Другими словами, "диктатура пролетариата", так, как ее понимал Маркс, не имеет ничего общего с монополией единой партии, со всемогуществом "олигархии", с инквизиторскими методами ГПУ, с Архипелагом ГУЛаг.

Во время дела Дрейфуса какой-то ученый умник обосновал приговор невиновному, ссылаясь на фразу Гете, оторванную от контекста и повторявшуюся затем не раз: "Я предпочитаю несправедливость беспорядку".

Иными словами, пусть приговаривают невиновного, лишь бы установленный порядок оставался неизменным. Но если отыскать эту, ставшую знаменитой фразу в книге Гете "Французская кампания", то там ее значение диаметрально противоположно: речь идет о некоем мародере, с которым толпа намеревалась расправиться в Майнце, Гете тогда вступился за мародера, считая, что лучше его спасти, чем допустить суд Линча.

Ленин громил своих ближайших товарищей, но иногда он хвалил их. Он выступал за демократию, а затем упразднил всякую демократию. Он выступал за Учредительное Собрание и безжалостно разогнал его. Сначала он был против Советов, затем за, потом снова — против и, наконец, — опять за Советы. Однако он полностью извратил их сущность, чтобы легче прибрать к рукам. Он обязался вести против Германии революционную войну, если не добьется справедливого и демократического мира, но он вынужден был подписать и оправдать "похабный мир". Он обещал мирное соперничество политических партий в рамках Советов, но он уничтожил все партии, включая и свою собственную (от которой осталось лишь название). Утверждая неизбежность отмирания

государства, упразднения полиции, армии, бюрократии, он на деле создал самое чудовищное полицейское, милитаристское и бюрократическое государство, которое когда-либо знала история. Все это известно Солженицыну, но он ссылается лишь на четыре тома сочинений Ленина, насчитывающих пятьдесят пять.

Применительно к "Ленину в Цюрихе" эти соображения о методах использования цитат куда более уместны, чем подробное обсуждение многочисленных ссылок на ленинские тексты, которые писатель несомненно читал с карандашом в руках, выписывая то характерное словцо, то характерную фразу или эпитет. Достаточно иногда строчки, чтобы допустить ошибку, но нужна страница, или несколько, чтобы восстановить истину. Поэтому подробное опровержение всех допущенных Солженицыным неточностей показалось бы читателю чем-то ненужным и утомительным. Куда более важно рассмотреть главные линии повествования, стремящиеся воссоздать исторические обстоятельства, которые определяют поведение действующих лиц.

Начнем с несколько неожиданного замечания: Солженицын стал жертвой коммунистической историографии, тенденциозной и чаще всего обманчивой, изучая многочисленную литературу, толкующую произведения Ленина. Те же извращенные толкования, основанные на одном и том же "идеологическом источнике", приводят различные издания Советской Энциклопедии.

Это особенно заметно, когда Солженицын рассказывает о съезде в Циммервальде и пишет, что левое крыло движения переросло в международное движение, во главе которого встал Ленин, переставший быть каким-то русским сектантом. Солженицын добавляет, что "слава" этого съезда принадлежит Гримму, которому он приписывает и его созыв. Все это неточно. На самом деле инициатива созыва съезда принадлежала итальянской социалистической партии и проявилась в ходатайствах ее миссионера О. Моргари в Париже, в Лондоне и, наконец, в Швейцарии.

Несомненно, в силу географического положения и нейтралитета его собственной страны, на счету Р. Гримма — большая

пацифистская деятельность, которую он вел с помощью Анжелики Балабановой. Балабанова являлась при нем представительницей итальянского социалистического движения, к тому же она владела пятью или шестью языками.

Нашему писателю следовало бы прочитать ее очень искреннюю и очень правдивую маленькую книжку "Из личных воспоминаний циммервальдца" (Ленинград, 1925 г.), чтобы иметь более точное представление о съезде и чтобы убедиться, что "левое крыло Циммервальда" очень долго не имело никакого значения и не играло никакой роли*. Сторонники Ленина представляли лишь самих себя как в Циммервальде, так и в Кинтале.

Во Франции даже тогда многие думали, что Ленин — своего рода последователь Толстого, принципиально настроенный против любого вида войны (см. у Ленина: "Открытое письмо Борису Суварину").

Когда же выяснилось, что Ленин проповедовал гражданскую войну, в то время как большинство циммервальдцев боролись за мир, а не за войну, — гражданскую или какую-либо другую, многие сочли его утопистом или просто безответственным человеком (за исключением горстки его приверженцев).

Рассказ Балабановой о конференции в Кинтале должен был бы окончательно осведомить Солженицына об истинном положении вещей. Так на стр. 80, автор возносит выступления Натансона, Мартова, Лапинского, Радека, но на Ленина тут нет и намека. Балабанова пишет о Ленине лишь тремя страницами позже, словно вспомнила о нем задним числом, а, быть может, просто потому, что издатели "призвали" ее к порядку.

Так или иначе, рассказ этот никак не соответствует "ленинским" версиям, выработанным впоследствии. Лишь франко-немецкая встреча в Циммервальде, за которой последовало общее заявление, придала видимость исторической зна-

*Эта книжка бывшего секретаря Коммунистического интернационала вышла в 1925 году, во время расцвета "культа личности" Ленина, хотя этот "культ" не был еще таким порочным и лживым, каким ему предстояло стать.

чимости конференции в Кинтале. Окончательную прокламацию редактировал Троцкий. Что же касается "левого крыла", то оно в тот момент никакого значения не имело и приобрело его лишь после захвата власти большевиками в Петрограде.

Столь же мало соответствуют исторической правде и различные упоминания Солженицына о революции 1905 года. Под влиянием книги Земана и Шарлау "Торговец революцией" он представляет Парвуса "Отцом первой революции" и вкладывает в его уста совершенно вздорные слова, например, о японских деньгах, якобы полученных большевиками и будто бы вызвавших бунт моряков на "Потемкине". Или, например, Япония финансировала инородных сепаратистов и помогала социалистам-революционерам издавать в Нагасаки газету "Воля". Это ничего общего не имеет с Лениным, и об этом нельзя серьезно писать в нескольких строках.

Обоснованные возражения Солженицыну должны были бы в первую очередь включить разбор упомянутой книги Земана и Шарлау — главного источника той главы, в которой псевдоотец первой революции позволяет себе нагоняющие сон разглагольствования.

В последнем выпуске журнала "Contrat social"* мы проанализировали сборник немецких документов, изданный Земаном, а также и биографию Парвуса, написанную тем же Земаном в сотрудничестве с Шарлау ("Торговец революцией"). Поэтому попытаемся теперь восстановить истину в главных ее пунктах.

Оба автора, на чьи произведения опирается Солженицын, не сумели избежать обычную ошибку биографов, ставящих своего героя в центр событий своего времени. Они сильно преувеличили значение и Парвуса, делая его чуть ли не главным действующим лицом революции 1905 года.

Если рассматривать их книгу как первую попытку воссоздать биографию теоретика "перманентной революции", работавшего несколько лет в тесном сотрудничестве с Троцким, то эта книга представляет несомненный интерес, так

*Том XII, № 4, Париж, 1968 г.

как она основана на документальных данных. Но она может также ввести в заблуждение неискушенного читателя, поскольку авторы восполняют отсутствие некоторых документальных данных собственными домыслами и недоброжелательными инсинуациями главным образом в адрес Ленина. На самом же деле все происходило совершенно иначе, чем это описывается в биографии Парвуса "Торговец революцией" или в беллетризованном вымысле, каким является "Ленин в Цюрихе".

Революция 1905 года была явлением грандиозным и стихийным, с многочисленными и трагическими последствиями. На протяжении целого года революция распространялась по всей российской империи, тогда как образованный в Петербурге Совет рабочих депутатов имел местное и эфемерное значение, ничего общего не имеющее с тем, которое ему было впоследствии приписано Петроградским Советом в 1917 году.

Совет 1905 года просуществовал приблизительно пятьдесят дней, то есть не полных два месяца. Его председателем был не принадлежавший ни к какой определенной группировке социалист Нозар (Хрусталеv). Он был арестован в декабре, и на его место пришла почти анонимная "тройка", наиболее активным членом которой был Троцкий. Власть этой тройки продержалась не более недели. Что же касается Парвуса, то он не играл во всем этом никакой ведущей роли. Он выступал главным образом как талантливый публицист, наряду с Троцким, в таких изданиях как "Русская Газета" или меньшевистское "Начало". Он же написал тогда "Финансовый манифест" Совета. Манифест этот наделал немало шума, но тут же и был забыт. Тот же Парвус написал и вступление к брошюрке Троцкого, изданной в Женеве: сколько экземпляров этой брошюрки дошло до России и кто их там читал — никому не известно.

В последующие годы она вызвала дискуссию о "перманентной революции" в кругах социал-демократов, увлекающихся теориями, однако никакого реального влияния на ход событий она не оказала (Солженицын прекрасно резюмирует ее тезисы в шести строках).

Сам Троцкий упоминает имя Парвуса лишь один раз в

своей книге о революции 1905 года, хотя книга эта была написана в то время, когда между Троцким и Парвусом были самые лучшие отношения и они были солидарны друг с другом.

С. Витте заметил позже: "Что касается Совета рабочих депутатов, то я ему не придавал особого значения. Он его не заслуживал". Точка зрения спорная, но ею пренебрегать нельзя, ибо она очень характерна. Однако в 1917 году престиж Троцкого был так велик, что слава его осветила задним числом и эфемерный Совет 1905 года, и о нем стали снова писать в коммунистической литературе, сильно преувеличивая его значение. Десять лет спустя Троцкий впал в немилость, и литература о Совете 1905 года "исчезла", да и о самом Троцком больше не стали упоминать, а если и упоминали, то только для того, чтобы на него клеветать. Парвуса же вообще стали обходить молчанием, и память о нем воскресла лишь в книгах Земана и Шарлау, а затем у Солженицына.

Есть документы и документы. Так, например, сборник Земана "Германия и революция в России" (Лондон, 1958 г.) воспроизводит 136 документов из немецких архивов. В. Хальвиг приводит сто, тогда как Солженицын довольствуется восемью.

Но имеются ведь не только официальные документы с Вильгельмштрассе. Мы располагаем также частной перепиской Ленина со своей семьей, его письмами, адресованными Шляпникову, Коллонтай, Инессе Арманд, Ганецкому, Бухарину, Горькому, Радеку и другим. Эти письма дают нам ясное представление о материальном положении Ленина до его отъезда из Швейцарии. Они свидетельствуют, что из-за прекращения почтовой связи с Россией, положение Ленина было крайне затруднительным, что он вынужден был искать работу для себя и для жены, чтобы подработать, и ужасался все возрастающей дороговизне и т.д.. Следовательно, все обвинения или намеки относительно его золота — чистейшая клевета, по крайней мере до апреля 1917 года. И тут Солженицын безупречен: он пишет о бедноте четы Ульяновых, о скупости Ленина, не покупавшего газет, а читавшего их в публичной библиотеке и т.д.. Но роман Солженицына сби-

вается с пути, начиная с главы 47, когда в вымышленных и неправдоподобных переговорах Ленин, после того как он несколько раз отклонил предложения денежной помощи Парвуса, предлагает ему взять себе в подмогу Ганецкого, его товарища по польской социалистической партии. Исключительно неправдоподобная выдумка, не предвещающая ничего хорошего для последующего развития романа.

К этому времени, то есть к 1917 году, Ганецкий уже не маленький мальчик. Ему 35 лет, он не подначальный, а вполне самостоятельный человек, и Ленин не имеет никаких оснований давать ему какие-то распоряжения. С Парвусом Ганецкий знаком уже много лет. Столь же неправдоподобно и относительно Бухарина, когда Солженицын пишет: "Ленин запретил Бухарину, запретил Шляпникову..." Все это не так: Ленин не мог приказывать ни Бухарину, ни Шляпникову. Он мог им отсоветовать поддерживать связь с Парвусом, и это нормально со стороны старшего, со стороны "старика", но он им не запрещал.

Ленин в Швейцарии был вдохновителем "совсем маленькой группки, названной Партией" по выражению Солженицына. Но это еще не Ленин в Кремле.

Помимо этого, Солженицын все время ошибается в оценке отношений Ленина со своими соратниками. Ганецкий для него далеко не близкий человек. В 1913 году Ленин ему пишет, обращаясь "Уважаемый товарищ" — это чисто условное обращение. В 1914 году — "Дорогой друг", потому что теперь он знает его лучше, и они оказывают друг другу небольшие услуги. Тогда как к Каменеву: "Дорогой Лев Борисович", а Сафарову: "Дорогой Жорж", потому что тот — еще совсем молодой человек. Неверно, что Ленин был на "ты" с Зиновьевым. Вне своей семьи Ленин ни с кем не был на "ты", за исключением — и то не всегда — Инессы Арманд. В своей молодости Ленин был на "ты" с Мартовым и с Кржижановским, но то было раньше. Он один раз обратился на "ты" к Лаццари, но это в ответном письме, где он придерживался итальянского партийного стиля. За исключением этих редких случаев, Ленин соблюдал дистанции.

Вернемся, однако, к немецким документам. Г. Катков первым использовал тот, который казался ему решающим и который близорукие ненавистники Ленина пытались представить как доказательство продажности коммунистического вождя: речь идет о телеграмме фон Кюльманна на имя Кайзера, датированной 3 декабря 1917 года (т.е. спустя месяц после Октябрьского переворота). В этой телеграмме немецкий министр иностранных дел приписывает себе заслугу в оказании финансовой помощи инородным сепаратистам и большевикам "разными путями и под личными этикетками" (то есть закамуфлированно и без ведома адресатов), объясняя этим самым большое распространение "Правды". Этот запоздалый доклад типичен для высокого сановника, который задним числом и без всяких доказательств хвастается, что принимал участие в событиях, прекрасно зная, что Кайзер лишен возможности что-либо проверить. Однако министр сам себя выдает мелочью, дискредитирующей его версию относительно "Правды". Эта газета под разными названиями выходила с 1912 года, без всякой посторонней помощи, и ее огромный успех в 1917 году был вызван безудержной пропагандой за немедленный мир. Деньги тут не при чем.

46 раз имя Ленина фигурирует в сборнике Земана, но ни разу не говорится о передаче ему денег. Другие, но не Ленин, получают "немецкое золото" (на самом деле бумажные марки), но что они с ними делают? Первый, кому "перепдают" эти тайные фонды, — Парвус, о котором ниже мы поговорим особо. Второй — эстонский националист, бывший социал-демократ, до той поры никому не известный, по имени Кескула. О нем немецкий посланник в Берне, фон Ромберг, говорил, что эта хитроумная личность "умудрилась обнаружить" программу Ленина на случай революции, но, что ее надо держать в строжайшем секрете, чтобы не лишиться ее "всей ее ценности"*.

Чтобы оценить по заслугам ум и знания немецкого дипломата, равно как нахальство эстонца, достаточно указать на то, что пресловутая "программа Ленина", о которой идет

*Докладная записка от 30.1X.1915.

речь, была опубликована в 33 номере в газете "Социал-Демократ" и дополнена в 47 номере (от 13.X.1915 года), стоившей 10 сантимов. Указанные даты не имеют решающего значения, потому что текст программы сначала распространялся в виде листовок. Очень трудно определить по опубликованным документам, какие деньги получил Кескула за оказанные услуги: сперва речь идет о 60 тыс. марок, затем о 70 тыс., потом о ежемесячных платах. Как бы то ни было, но капиталовложение в 10 сантимов принесло ловкому эстонцу прекрасный дивиденд... Впрочем, он мог даже сэкономить и эти 10 сантимов: листовки-то раздавались даром!

Чтобы приукрасить "программу" и свою роль, Кескула уже от себя добавляет о плане Ленина послать русских солдат оккупировать Индию. Эта совершенно идиотская выдумка несколько не смутила Ромберга. Не смутила она и Канцлера, которому была адресована. Не смутила она и ненавистников Ленина, которые тотчас же подняли вокруг нее шум. Не смутила она и Солженицына, несмотря на намерение Ленина захватить Индию русскими войсками.

Имя Кескулы можно еще встретить в несколько странной книге Майкла Фетрелла "Северное подполье" (Лондон, 1963 г.). Книгу эту следует читать с большой осторожностью, потому что в ней невероятная смесь правды и вымысла. Автор приводит, например, такие слова Кескулы: "Ленин был моим "протеже", это я создал Ленину имя..." Такой вздор дает достаточное представление о методах эстонского шарлатана, который при этом еще хвастался, что вернул немецкому правительству те 30 тыс. марок, которые он получил от него во время войны.

Единственный немецкий документ, на который ссылается Солженицын и который содержит нечто большее, чем туманные обобщения, — это послание Ромберга государственному канцлеру. В этом послании речь идет о некоем русском социалисте-революционере, получающем немецкие деньги, по имени Цивин (кличка: Вейсс). Цивин утверждает, что он знаком с Черновым и с Бобровым (Натансоном), уважаемыми лидерами эсэров, но Ленин и здесь не при чем. Почему же тогда Солженицын приводит этот документ, когда

пишет о Ленине? Не потому ли, что он не смог найти ничего другого, чтобы подтвердить исторический характер своего повествования. Но это лишь доказывает скудость его документации (заметим, что сами немцы, в конце концов, отказались от псевдоуслуг как Цивина, так и Кескулы, глубоко разочаровавшись в них).

Сборник Хальвега, как и сборник Земана, доказывают, что немцы были заинтересованы в том, чтобы сеять смуту в России, точно так же, как они поддерживали ирландский бунт; так же, как Франция посылала Марсея Кашена и Шарля Дюма в Италию, чтобы финансировать Муссолини.

Главную ставку немцы делали на сепаратизм инородцев и всячески поощряли его.

За счет Германии жили в те годы всевозможные хлопотуны, интриганы, проходимцы и ловкачи, роем кружившиеся возле секретных фондов немецкой разведки.

Как правило, все эти субсидии, раздававшиеся бесконтрольно, пожирались всякого рода посредниками и паразитами. Очень мало доходило по назначению, и, конечно же, не оказывало никакого влияния на ход истории.

Немецкие документы не содержат ничего иного, они не дают ничего, что могло бы дополнить биографию Ленина. В свое время мы тщательно проанализировали эти документы в статье "Золото и вагон", опубликованной в журнале "Contrat social". Возвращение к этому анализу увело бы нас слишком далеко от книги Солженицына.

Ленин — не образец нравственности. Он к тому же и не претендовал на это. Для него было морально все то, что служило целям революции. Он говорил Рязанову, который рассказал нам об этом: "Мы не кандидаты на премию Монтюна". Но тот же Ленин очень заботился о том, чтобы не упасть в глазах русского народа. Он мечтал поднять массы против старого режима и повести их к социальной революции и коммунизму. По своему Ленин был человеком принципиальным, умеренным, догматиком, проявлявшим политическую гибкость, но со сложившимися взглядами на вещи и на людей. И это ни в коем случае нельзя терять из виду, когда речь идет о его связях с империалистической Германией,

с "социал-патриотами" или с "социал-предателями" и, в частности, с Парвусом.

Справедливо обвинять Ленина в тяжких грехах, хотя бы за диктатуру пролетариата, лживо названную этим именем, фактически являющуюся диктатурой над пролетариатом и против него, диктатурой над обществом его страны и против него. Можно также ставить в вину Ленину и то, что он создал, а затем передал в руки Сталина чудовищный государственный аппарат насилия, беспрецедентный в истории человечества. Огромная заслуга Солженицына перед Россией и перед человечеством в том, что он сказал правду об ответственности Ленина. Но это никак не может служить оправданием тому, что за историю выдается то, что не имеет к ней никакого отношения, тем более, если это делается в романе, претендующем на то, чтобы называться историческим. Это относится ко всему, например, что касается Парвуса.

Парвус был русско-немецким социал-демократом, человеком умным, образованным, оригинальным мыслителем, талантливым писателем-марксистом. Но, как уже отмечалось, в русской революции 1905 года Парвус никогда не имел того значения, которое ему приписывает Солженицын.

Когда ему наскучило прозябать на второстепенных ролях в немецкой социал-демократии (верховные жрецы которой водили его на помочах), Парвус отправляется на Балканы и начинает заниматься там весьма доходными "делами".

Троцкий, который знал его лучше чем кто бы то ни было, пишет в своей автобиографии "Моя жизнь": "... В Парвусе всегда присутствовал элемент чего-то сумасбродного и ненадежного. Среди прочих странностей, этот революционер был одержим совершенно неожиданным стремлением к обогащению... Более того, он даже как-то умудрялся связывать эту свою мечту со своим пониманием социальной революции". Он мечтал о большой ежедневной социалистической газете на трех языках, которая бы разительно отличалась от скучной и банальной социал-демократической печати. Но для осуществления этой затеи требовались большие деньги.

Когда в 1914 году началась война, Парвус тотчас же определил свои позиции. Он больше всего ненавидит царский режим и видит в немецкой мощи провиденциальную возможность раздавить его власть. К тому же Германия для него — и страна "культуры".

И вот в марте 1915 года он подает на рассмотрение немецкого правительства меморандум, в котором дает замечательный анализ слабых мест Российской Империи и предлагает взорвать ее изнутри. И сделать это двумя способами: финансируя революционное движение и поддерживая сепаратистские настроения инородцев. Деятели Вильгельмштрассе, немецкого правительства и генерального штаба, мало сведущие в этих делах, были покорены аргументами Парвуса. Но он их бесстыдно обманул относительно средств, какими думал воспользоваться.

Во-первых, он утверждал, что без труда объединит разрозненные организации и фракции русских социалистов. Затем он уверял, что сумеет использовать налаженные большевиками тайные связи для засылки в Россию "подрывных материалов". Но для этого требуется много денег, говорил он. И он эти деньги получал.

Между тем объединить разношерстные социалистические группы и группки было либо абсурдной утопией, либо явной ложью: у каждой из них, особенно у большевиков, имелись непоколебимые основания жить врозь. Ленин был маньяком раскола, об этом говорили все его действия, и Солженицын прекрасно это знает. Но он как будто забывает об этом, принимая в серьез шарлатанство Парвуса. Что же касается тайной организации большевиков, в те дни ее деятельность сводилась почти к нулю. Это видно из переписки Ленина со Шляпниковым и с близкими. То же подтвердил Зиновьев в своей "Истории русской компартии": "Война привела к почти полному разгрому Партии... Партия была распылена и раздавлена". Об этом же говорит Бухарин, так же как и Молотов в разговоре с Джиласом.

Значит, Солженицын был введен в заблуждение Земаном и Шарлау, пользовавшимися без разбора этими "документами", никак не соответствующими истине.

Разбирая эти документы один за другим, мы узнаем, что Парвус неосмотрительно предсказывал, что революция в России произойдет 22 января 1916 года, что он якобы послал миллион марок в Петроград. Кому? Через кого? Для чего? Парвус может рассказывать любые небылицы, никаких ощутимых следов его деятельности не осталось. Ничего не произошло и в Петрограде в указанный им день, однако через год, в марте неожиданно для всех рухнула царская империя, однако никто не может приписать себе заслугу ее падения. Безнадежно длинная, затяжная война и беспечность власть имущих привели к крушению старого режима. Конечно, полувекровая деятельность сделала свое дело. Но если кто-то в России по-настоящему способствовал подрыву доверия и уважения к Армии, Церкви и Государству, то это безусловно был некий Толстой. Немецкие деньги тут не при чем, а Парвус и того меньше. И открылась новая эра для социалистических партий и профессиональных революционеров.

Каковы же были взаимоотношения Ленина с Парвусом? В письме на имя Рязанова 9 января 1915 года Ленин пишет: "Мы не видели Парвуса". В эти дни никто и понятия не имел о контактах Парвуса с некоторыми немецкими властями.

В конце мая того же 1915 года Парвус подошел к Ленину в одном из ресторанов в Берне, оба они вышли на улицу, чтобы поговорить, но как только Ленин почувствовал настроение Парвуса, он послал его ко всем чертям. На этом и кончились их отношения. Земан и Шарлау тем не менее позволяют себе утверждать, что разговор между ними состоялся на квартире у Ленина и даже указывают адрес: Дистельвег. Но авторам не повезло: 17 апреля Ульяновы переехали на Вальдхеймштрассе*. Их книга полна ошибок, неточностей, ложных ссылок и недопустимых инсинуаций.

Солженицыну не повезло в том, что ему пришлось черпать информацию из столь мутного источника.

Вскоре, после того как Ленин публично унизил Парвуса, тот начал издавать свой журнал "Ди Глокке" ("Колокол").

Ленин назвал этот журнал "сплошной клоакой". Сам же "Парвус, показавший себя, по словам Ленина, авантюристом уже в русской революции, опустился теперь в издаваемом им журнальчике "Колокол" до... последней черты... Он лижет сапоги Гинденбургу... как мелкий трус, он снисходительно полудообряет Циммервальдскую конференцию... в шести номерах его журнальчика нет ни одной честной мысли".

Впоследствии все попытки Парвуса добиться свидания с Лениным были с презрением отвергнуты. После Октября, когда Парвус выразил желание поехать в Петроград, Ленин решительно воспротивился этому. "Дело революции не должно быть запачкано грязными руками". Поэтому с изумлением читаешь в книге "Ленин в Цюрихе" воображаемые разговоры Ленина с Парвусом о совершенно невообразимых вещах.

К тому же Солженицын выдумывает визит к Ленину некоего Скларца, тогда как Ленин никак не желал его видеть: "Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателям "Колокола" я, конечно, не могу" пишет он 30 марта 1917 года. Право писателя на выдумку ограничено уважением к исторической правде, особенно когда дело идет о событиях, свидетели которых еще живы, также как и существует неопровержимая документация.

Даже если речь идет о чисто литературном приеме, как, например, внутренний монолог, к которому Солженицын так часто прибегает, необходимо, чтобы разговор собеседников был как минимум приемлем с точки зрения исторической.

Парвус может рассказывать сказки немецким чиновникам, но никак не Ленину — о революции 1905 года. Он не может в разговоре с Лениным хвастаться тем, что он организовывал забастовки, взрывал крейсер или раздавал направо и налево японские деньги. Не в характере Ленина выслушивать такой вздор. Он всегда дорожил своим временем, и Крупская охраняла его от нежелательных посетителей. Солженицын сам пишет, что один потерянный час делал Ленина больным. Так что Ленин никогда не позволил бы себе потерять хоть одну

* В.И. Ленин, "Биографическая хроника", том 3, стр. 333

минуту времени на разговор с шарлатаном, уверявшим, что он "сделает революцию" с помощью золота. В конце жизни Парвус впал в мегаломанию, но в 1915 году он еще не был сумасшедшим. Да и Ленин не такой человек, чтобы обращаться к вызывающему в нем отвращение "социал-предателю" и называть его при этом Израиль Лазаревич.

Создается впечатление, что и Солженицын не сомневается в том, что именно деньги — двигательный нерв войны, в том числе и войны гражданской. Ему бы следовало лучше последовать за Макиавелли в его "Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия": "Ничто так ни ошибочно, как придерживаться распространенного мнения о том, что деньги — двигательный нерв войны... Не деньги, а хорошие солдаты — двигательный нерв войны... Золото не достаточно, чтобы найти хороших солдат, но хороших солдат вполне достаточно, чтобы найти золото". И действительно, выступая против лишнего защитников Временного Правительства, Ленин захватил власть с помощью хороших солдат, какими были профессиональные революционеры, его красногвардейцы и петроградский гарнизон, не имевший представления об его "Материализме и эмпириокритицизме", но который просто-напросто не желал возвращаться на фронт. И благодаря своим "хорошим солдатам" Ленин сумел раздобыть и золото как в банковских сейфах, так и в общественных кассах. Тогда как его хулители все еще теряют время на поиски "документов", которым они не смущаясь приписывают то, чего в них нет.

Окончание в следующем номере.

Вышли в свет сборники стихотворений

ЛЕОНИДА ИОФФЕ

"Косые падежи" и "Путь зари".

Книги продаются:

в Иерусалиме: "Дар" — ул. Пинаса, 7

в Тель-Авиве: "Лепак" — ул. Рамбама, 15

"Болеславский" — ул. Алленби, 72

в Хайфе: "Хайфлепак" — ул. Арлозорова, 11.

Ефим ЭТКИНД

КАПЛЯ КРОВИ

Много истратят задора горячего
Все над могилой моей.
Родина милая, сына лежащего
Благослови, а не бей!..

Н.А. Некрасов, 1876

Я к цели шел колеблющимся шагом...
Н.А. Некрасов. "Умру я скоро"... 1867.



1

Сколько ехать от Литейного, угол Бассейной, до Мойки, угол Невского? Не более четверти часа. Некрасов зябко кутался в меховую шубу, несмотря на теплый апрельский день, — великолепная пара рысаков несла его коляску, известную всему Петербургу, по набережной Невы, ежедневным его путем от дома до Английского клуба. Он любил быстро, вернее, ненавидел расхлябанность: время уплотнял до отказа, не было "между", не было отдыха, одно находило на другое, передвижение же казалось паузой, которую надо по возможности сократить; он торопил кучера, его грызло нетерпение. Но сегодня все иначе: зачем кучер гонит? Вот уже миновали Летний сад, уже позади Марсово поле, еще несколько минут и — поворот на Дворцовую площадь, оттуда на Морскую... А там — медленный подъем по беломраморной лестнице Английского клуба, медлительно-торжественный обед, в конце которого он, встав, попросит разрешения произнести приветствие, ему охотно разрешат, и он хрип-

Из книги "Стихи и люди".

лым, еле слышным голосом прочитает свои двенадцать строк, это займет меньше минуты, и это будет концом его жизни. Генерал Муравьев, которому посвящены эти двенадцать строк, будет с брезгливым презрением искоса поглядывать на литератора, — в Сибирь его давно следует отправить, следом за Чернышевским, а он тут мутит головы своим журналом и произносит лицемерные оды на торжественных обедах! Генерал Муравьев, пожалуй, ни одного слова из этих двенадцати строк не услышит, он же, Некрасов, поставит крест на своем имени и своей чести. Давно ли он с тоской писал, призывая покойную мать:

Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!..

и понимал, что хуже, страшнее мук совести никаких на свете:

Что враги? пусть клеветят язвительней,
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!

Но что все это по сравнению с казнью предстоящей? С той, которой он сам подвергнет себя после двенадцати строк, воспевающих палача? Нет, этого делать нельзя, это непоправимо. "Назад, назад, домой!"

Кучер объехал Дворцовую площадь, повернул — но не в Морскую, а в Миллионную, и коляска снова, но теперь с другой стороны, выехала к Марсову полю. Значит, еще можно быть хозяином своей жизни, спасти себя и честь свою — в последний миг, а все же спасти... Вернуться домой, в те стены, где еще звучат голоса Добролюбова и Чернышевского, оберегающие от преступных ошибок. Можно ли? Да, но только в воображении. Ничего этого не было — он не вставал с дивана. Сейчас ночь, ночь на 16 апреля 1866 года. Ехать в Английский клуб предстоит завтра, ехать или нет? Добролюбов в могиле, Чернышевский в Сибири — кого спросить? Уже их нет, — без них он жить не может. И вот теперь спрашивает их тени, витающие в этих комнатах "Современника": верно ли поступает? Друзья мои, дорогие друзья, что дороже:

честь — или "Современник"? Я поставлен перед немислимым, небывалым выбором: погубить ли дело моей и вашей жизни — или пожертвовать честью, добрым именем? "Современник" принадлежит не мне, а всем нам, — и вам, и России, а мое имя и моя честь — это достояние мое, ими я пожертвовать вправе. Или это не так, и я просто боюсь — боюсь не за журнал, а за себя? Боюсь тюрьмы и каторги? Гражданской смерти? Нищеты? Бесславия?

Неправда, он клеветает на себя: его так долго со всех сторон поносили, что и сам он поверил в ничтожность своих побуждений. За благополучие свое он боится, это, разумеется, так, но жизнь отдаст, не дрогнув. Разве не доказал он этого и другим, и самому себе? Двадцать лет ведет "Современник", а сколько раз за эти годы оказывался на краю пропасти? Года два назад он в стихах памяти Добролюбова благодарил покойного друга за святую науку самоотвержения, им преподанную:

Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать.

Ему не поверят. Не только враги, но даже друзья, даже близкие сотрудники отступятся, будут презирать за ренегатство, — к этому он готов, хотя нравственные страдания, предстоящие ему, страшнее физических. Ему не поверят; его поступок припишут желанию спасти себя, свои доходы, свой комфорт. Оправдаться ему будет трудно, почти невозможно — разве что перед потомством! Но отдать "Современник"?

Итак, перед ним открывалось — пока еще — два пути. Пока еще — этой ночью — у него выбор.

Он может поступить так, как уже поступил в воображении, закричав кучеру: "Назад, назад!". Редактор "Современника", старый член Английского клуба, не приедет на торжественный обед, даваемый клубом в честь генерала Муравьева. Не приедет... Это и само по себе достаточно заметно: сегодня, когда царь облек Муравьева безграничной, диктаторской властью, когда казенная Россия пресмыкается перед этим спасителем, а точнее палачом, сегодня — бросить ему вызов? Муравьев

и без того считает "Современник" источником смуты, а его сотрудников — Салтыкова, Успенского, Антоновича, Жуковского, Елисеева — первыми врагами престола. Может быть уже обречен "Современник", бесповоротно обречен? На другой же день после того события, которое привело к власти Муравьева — после выстрела Каракозова в царя, — Некрасов посетил нескольких влиятельных вельмож: побывал у егермейстера Сергея Шереметева, затем у Муравьева, у министра двора Адлерберга, у члена Государственного Совета генерал-адъютанта графа Строганова, который, кстати, был старшиной Английского клуба, у члена Совета Главного управления по делам печати Феофила Матвеевича Толстого... С некоторыми из них он был коротко знаком, вместе охотился или встречал в Английском клубе за зеленым сукном, — теперь он хотел уверить Муравьева в верноподданных чувствах и в непричастности "Современника" к выстрелу Каракозова; еще он хотел разведать намерения врага, и Феофил Толстой, узнав обстановку, 14 апреля написал ему записку. Она лежала на столике подле дивана, и время от времени Некрасов бросал на нее взгляд:

"Мужайтесь, дорогой Николай Алексеевич, я только что узнал из вернейших источников, что участь "Современника" решена, и слешу поделиться с Вами этой печальной новостью. Вчера я проработал весь день, защищая вас, в Комитете, но не успел, хотя ваши истинно-патриотические стихи произвели впечатление своей искренностью и задумчивостью..."

Феофил Толстой, человек обширных связей и большой осведомленности, пишет, что "участь "Современника" решена". Значит, так и есть — журнал запрещен. Смириться с этим? Нет, нет, и нет. Отдавать "Современник" нельзя. Этот журнал задумал, основал, создал Пушкин, оставивший его своему другу Петру Александровичу Плетневу, который скончался лишь полгода назад. До сих пор служит при редакции дед Минай, в "Современнике" он с года основания, с 1836-го все носит корректуры — Некрасов любил с ним потолковать, а в сатире "До сумерек" передал его рассказы:

То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год

Все ношу к Николай Алексеичу, —
на Литейной живет.

Любил Минай хвалиться тем, скольких знал сочинителей, и особенно любил Пушкина, который, — не то что скупой Жуковский, — ему "частенько на водку давал,

**Да зато попрекал все цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурую:
Убирайся, мол, ты!**

**Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
"Это кровь, говорит, проливается,
Кровь моя, — ты дурак!"**

А потом, после гибели Пушкина, сколько крови пролилось на страницах наших корректур. Ручьями текла кровь Белинского и Чернышевского, Антоновича и Добролюбова, Глеба Успенского и самого Некрасова! В прошлом 1865 году цензура из каждого номера выбрасывала большие куски, — из номера четвертого изъяла семь печатных листов, из номера пятого — пять... Верно говорил Пушкин рассыльному Минаю: "Это кровь проливается, кровь моя..." Отдать "Современник" вместе со всей этой священной кровью? С душой и мыслью его основателя? Никогда!

Отдать "Современник", который стал голосом российской демократии, творцом нашей общественной жизни? Чиновник правительства, тупой буквоед, и тот в доносе написал, что цель журнала "в стремлении к поколебанию авторитета правительственных распоряжений и высших классов общества... в подрывании основ собственности, семейного союза и общественной нравственности". Это почти так — "Современник" не просто литературный журнал, каких много, а политическая партия, и каждый его номер не сборник пестрых материалов, случайных статей, а цельная книга. Отдать его, капитулировать, лишить русское общество своего голоса и возможности самопознания?

А еще: большого дохода "Современник" не приносит, но все же позволяет и поддерживать семью Чернышевских —

без такой поддержки Ольга Сократовна пропала бы давно, и воспитывать братьев Добролюбовых — за счет кассы "Современника" — к ним ходит учитель... Ежемесячное пособие получают такие писатели, как Николай Успенский, Слепцов, Помяловский. Пустить, что ли, всех по миру? Нет, отдавать журнал нельзя. Белинский не велит, Добролюбов не велит, Чернышевский проклянет. Но Феофил Толстой сообщает, что участь журнала решена. А если не до конца решена? Если можно их заставить решить по-новому? Ведь их купить ничего не стоит... Вот произвели же на них "впечатление своей искренностью и задушевностью" пошлейшие вирши об Осипе Комиссарове! Похвала Муравьеву будет еще пошлей, еще лживей, значит она произведет еще большее впечатление своей задушевностью... Да ведь и граф Строганов смыслит в интригах, он знает психологию начальства: Муравьеву надоела катковская газета, стихи Некрасова могли бы его укротить, смягчить... Не послушать ли Строганова?

Есть еще пока два пути у Некрасова.

Первый. Он не едет в Английский клуб. Тогда "Современник" закроют непременно. Сотрудников ждет в хорошем случае нужда, в худшем — крепость и Сибирь. Его, Некрасова, тоже. Он отправится следом за Чернышевским, арестованным вот уже скоро четыре года, разве нельзя обвинить его в тех же грехах. Некрасов знал Сенатское определение по делу Чернышевского, окончательно выработанное в январе 1864 года.

"Отставной титулярный советник Николай Чернышевский, занимавшийся литературой, был одним из главных сотрудников журнала "Современник". Журнал этот своим направлением обратил на себя внимание правительства. В нем развивались материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и законов, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала."

Все это не относилось разве к Некрасову? Сам для себя, он, пожалуй, мог смириться и с тюрьмой, и с Сибирью — но не значит ли это погубить дело, — дело, под которым струится кровь? Дело просвещения? Дело российской свободы?

Второй путь. Он едет в Английский клуб. Он лицемерит,

подличает, унижается перед Муравьевым-Вешателем. Он обрекает себя на презрение. Но, быть может, сохранится журнал. Минет черная полоса, одумается царь — в конце концов, Некрасова поддержат многие: даже министр внутренних дел Валуев, и тот любит поиграть в либерала; даже граф Феофил Толстой готов помогать Некрасову. И Строганов... Чего хочет Муравьев? Разделаться с "Современником". Зачем облегчать ему такую возможность? Он хочет закрыть журнал, мы — сохранить, во что бы то ни стало сохранить. Для этого надобно пойти на все, пожертвовать всем, кроме дела.

Да, это так. Но если во главе "Современника" будет человек, лишенный общественного доверия? Покрывший себя позором бесчестия? Заслуживший своим отступничеством звания "ренегат"? Сможет ли тогда журнал служить делу? Не ляжет ли пятно предательства на журнал? Не окажется ли журнал в союзе с сатаной? Страшный вопрос вставал перед Некрасовым, вопрос о цели и средствах. Казалось бы, ради великой цели можно прибегнуть к любым, даже нечестным средствам. Но ведь и средства определяют свойства цели. Поднимаясь по ступеням лжи и лицемерия, уступок и злодейств, когда-нибудь доберешься и до лучезарной звезды, и вдруг увидишь, что ее нет, звезда погасла. Цель исчезла. Жизнь прожита впустую.

2.

"Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают сами".

Граф М.Н. Муравьев.

Может быть, Некрасов преувеличивал опасность, нависшую над ним, его друзьями, его журналом? Нет, не преувеличивал ничуть. Русское общество переживало один из самых мрачных периодов своей истории — во всяком случае, в XIX веке. Слово было в большей опасности, чем когда бы то ни было прежде. И это тем страшнее, что внешне все казалось благополучно; казалось, век шествует путем прогресса.

В самом деле, что лучше, цензура — или отсутствие таковой? Произвол правительственных чиновников, не пропускающих в печать все, что им кажется вредным, или неурезанная свобода слова? Разумеется, отмена предварительной цензуры — прогресс. Еще недавно она была многоступенчатой, многослойной, разветвленной; кроме общей и духовной, на дороге автора стояли специально-финансовая, военная, морская, театральная... Пробриться сквозь них было трудно. И вот — какое торжество! — законом от 6 апреля 1865 года предварительная цензура отменена. Правительство сохранило ее лишь для небольших книг, меньше десяти печатных листов, и для некоторых журналов. Кто напечатает не то, что надо, теперь пусть пеняет на себя сам. Такому журналу сделают одно предостережение, потом другое, потом третье, а уже после третьего — приостановят, то ли на время, то ли навсегда.

Прежде цензоры свирепо обращались с "Современником": их красные кресты обрекали на гибель то четверть журнала, то треть. Но он выходил, и закрывать его было не за что. Теперь некрасовский журнал уже имел два предостережения: первое за 8—9 номера (оскорбление начал брачного союза, порицание начал собственности, возбуждение вражды к высшим классам), второе за № 10 (оскорбление религии, глумление над государственным устройством); они были вынесены 10 ноября и 4 декабря 1865 года. Оставалось ждать третьего предостережения — и конца.

Жить с двумя предостережениями журнал уже не мог. Это была агония.

Некрасов — Щербинину, председателю Главного управления по делам печати:

Существование журнала с двумя предостережениями немислимо, подобно существованию человека с пораженными легкими. Чтобы выиграть несколько дней жизни, эти люди, выходя на воздух, надевают на рот особенный снаряд, который и мешаает дыханию и вместе с тем, как думают, способствует продолжению его.

"Современник" отныне должен являться в публику в подобном снаряде. Как будет ему дышаться, какова будет его речь, — об этом бесполезно говорить. Величайшим для меня счастьем было бы закрыть журнал теперь же, не подвергаясь неприятности присутствовать при

медленной агонии журнала, на который потратил я лучшие мои силы, работая над ним, в первое десятилетие, почти один...

(Середина декабря 1865)

Медленная агония "Современника" тянулась еще полгода, — при новом цензурном режиме, в условиях "свободного слова". Да, слово стало свободным. Дед Минай, который тридцать лет носил корректуры "Современника" к цензорам, теперь вздохнул — ходьбы стало меньше. Некрасов рассказал читателям о разговоре со стариком Минаем, который радостно сказал ему:

"Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пуцать.

К ним да к редактору ныне
Только и носим статьи...
Словно повысились в чине,
Ожили детки мои!

Каждый теперича кроток,
Ну да и нам-то расчет:
На восемь гривен подметок
Меньше изнаосится в год!.."

Это — стихотворение "Рассыльный", из "Песен о свободном слове", которые Некрасов дерзко напечатал, — пользуясь отсутствием предварительной цензуры — в 3-й, мартовской, книжке "Современника" за 1866 год. Здесь и наборщики горестно вспоминают о том, что было в недавнем прошлом, когда цензор потоком красных чернил заливал корректуру, так что

Живого нет местечка!
И только на строке
Торчат кой-где словечки,
Как муха в молоке.

Но теперь настало новое время — "Ослобонилась печать!" — и хор наборщиков, ликуя, поет:

Поклон тебе, свобода!
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
С рабочего народа
Ты тяготы сняла!

Еще надавно им, беднягам, приходилось по несколько раз набирать одно и то же сочинение, которое становилось все короче и короче, пока не теряло всякий смысл. Зато теперь —

Поклон тебе, свобода!

Итак, с точки зрения рассыльного, деда Миная, стало хорошо, потому что — выигрыш на подметках. С точки зрения наборщиков стало хорошо, потому что не надо перебирать одно и то же по многу раз. Среди этих песен есть еще и точка зрения фельетониста. ("Фельетонная букашка"), которому все равно, что прежде, что теперь. ("Умел писать я при цензуре. Так мудрено ль теперь писать?"), и точка зрения "публики", то есть состоятельных обывателей, которых новый порядок пугает:

Все пошатнулось... О, где ты,
Время без бурь и тревог?
В бога не верят газеты,
И отрицают поэты
Пользу железных дорог!..

Прежде лишь мелкий чиновник
Был твоей жертвой, печать,
Если ж военный полковник —
Стой! ни полслова! молчать!

Но от чиновников быстро
Дело дошло до тузов,
Даже коснулся министра
Неустрашимый Катков...

Все же это самообман. От такой "свободы" добра не будет. Но, чтобы это понимать, нужно быть не восторженным дураком, а умным скептиком. В стихотворении "Литераторы"

Три друга обнялись при встрече,
Входя в какой-то магазин.
"Теперь пойдут иные речи!" —
Заметил весело один.

"Теперь нас ждут простор и слава!" —
Другой восторженно сказал,
А третий посмотрел лукаво
И головою покачал!

Печать "ослобонилась", но журнал висел на волоске. Это уже чувствовала и публика: в 1866 году подписчиков стало втрое меньше, чем в лучшую пору — боялись прослыть неблагонадежными.

Некрасовские "Песни" появились в журнале в марте, в марте же, двадцатого, автор читал их в многоколонном зале Дворянского собрания, на вечере в пользу нуждающихся литераторов и ученых, — успех был бурный. Даже те, кто боялся подписываться, здесь аплодировали; им, вероятно, казалось, что все, слава Богу, не так страшно, раз можно публично сказать то, что позволяет себе редактор "Современника", раз можно вслух, в огромном зале, произнести:

Ай да свободная пресса!
Мало вам было хлопот?
Юное чадо прогресса
Рвется, брыкается, бьет,
Как забежавший из степи
Конь, незнакомый с уздой...

Словом, наступило удивительное время, когда надежды вечером колебались и даже рушились, а утром возрождались и крепили. Двойное время... Очень скоро оно перестало быть двойным.

Через две недели после вечера в колонном зале Дворянского собрания, 4 апреля, некий молодой человек приблизился к императору, садившемуся в экипаж на набережной близ Летнего сада, и навел на него пистолет. Пуля пролетела мимо — стоявший рядом картузник, или, по газетному

говоря, шляпный мастер Осип Комиссаров спас царя, ударив террориста под локоть. С этой минуты двойное время кончилось. Герцен сразу понял, что предстоит; "Колокол" не сомневался, что правительство "будет косить направо и налево, косить прежде всего своих врагов, косить освобождающееся слово, косить независимую мысль, косить головы, гордо смотрящие вперед, косить народ, которому теперь льстят, и все это под осенением знамени, возвещающего, что они спасают царя, что они мстят за него".

Во главе следственной комиссии царь поставил графа Михаила Николаевича Муравьева, только что залившего кровью непокорную Польшу. Это значило, что и в самом деле будут — косить. Муравьев, прозванный Вешателем, щадить не собирался никого. Его на то и поставили, на то и дали ему неограниченную власть, чтобы он уничтожил крамолу в корне.

3

**Время гнусного бесславия,
Поголовного стыда.
Бездну нашего бесправия
Мы измерили тогда
Словно
Все замешаны гуртом
Кроме подлости, спасения
Мы не чаяли ни в чем.**

**Н.А. Некрасов. Медвежья свадьба.
Черновой набросок. 1866-1867.**

Все было позади. Его ограждали от Петербурга те же стены, что и минувшей ночью. Только вчера они защищали его от врагов, сегодня еще и от негодующих друзей. Вчера он был раздираем сомнениями, его одолевала неутомимая фантазия; сегодня не было ни сомнений, ни противоречий, — настойчиво работала память, бесчисленное множество раз во всех подробностях восстанавливавшая то, что он видел и слышал нынче вечером. Огромный обеденный стол в зале Английского клуба. Во главе стола тучный, круглоголо-

вый, похожий на бегемота, Муравьев — лицо его лишено выражения и даже не кажется безобразным до тех пор, пока на нем нет страшной улыбки — углы рта не поднимаются, а непостижимо опускаются книзу. Потом подали кофе — и даже можно незаметно уйти, но решение принято, и двенадцать строк написаны. Читать их было, в сущности, уже поздно, и уже Муравьев сидел с кружком приближенных в галерее при входе в столовую залу, но тут встал Мейснер и провыл жалкое приветствие, какую-то дребедень в стихах, ему стали одобрительно хлопать. Тогда поднялся Некрасов и воцарилось молчание; ненавидя собственный сиплый голос, он попросил разрешения прочесть свое послание. Муравьев отвернулся, разжигая погасшую трубку, и Некрасов медленно прочел: крамола великое зло, нужно бороться с нею беспощадно-строго. Все молчали. Некрасов сказал:

— Ваше сиятельство, разрешите напечатать?

— Это ваша собственность, — ответил Муравьев, — вы можете располагать ею, как хотите.

Тут бы уйти, исчезнуть, однако Некрасов уже не владел собой. Зачем-то он сказал:

— Но я просил бы вашего совета...

Муравьев пососал трубку и проговорил:

— В таком случае, не советую.

Вот и все, что было. Спускаясь по лестнице, Некрасов боялся упасть. Подвиг не состоялся, он отлично понимал, что погиб и что журнал погиб. На лестнице его догнал граф Феофил Толстой, взял его под руку и что-то говорил — кажется, что теперь появились шансы спасти "Современник". Какой-то усатый господин обнял его и поздравил с успехом: — "Какие мужественные стихи, какая благородная звучность! Любезнейший Николай Алексеевич, вы подлинный патриот!" Другой поддержал усача и похвалил его, Некрасова, оду в честь Осипа Комиссарова, появившуюся вчера в "Иллюстрированной газете". Некрасов едва вырвался из их объятий и уехал.

И вот он у себя, на Литейном. Здесь ничего не изменилось, но изменилось все. Корешки книг смотрят на него иначе,

чем прошлой ночью. Портрет матери стал другой — глаза ее погасли. На лицо Добролюбова над столом он не глядел. Уже была глубокая ночь, а он все шагал по кабинету, боясь думать о будущем и боясь вспоминать о прошлом. Потом присел на диван, к столику и написал стихи, родившиеся словно помимо его воли, сами по себе:

Ликует враг, молчит в недоуменьи
 Вчерашний друг, качая головой.
 И вы, и вы отпрянули в смущеньи.
 Стоявшие бессменно предо мной
 Великие, страдальческие тени,
 О чьей судьбе так горько я рыдал,
 На чьих гробах я преклонял колени
 И клятвы мести грозно повторял...
 Зато кричат безличные: "Ликуем!"
 Спеша в объятья к новому рабу.
 И пригвождая жирным поцелуем
 Несчастливого к позорному столбу.

Минет десять лет. Умиравшего Некрасова посетит его друг и прежний соредактор, Александр Николаевич Пыпин, и вечером в дневнике своем запишет:

1877, 15 января. У Некрасова. Он лежал в постели, бледный и изнеможенный. Когда я пришел, он начал говорить и мало-помалу очень оживился...

...Вспоминал об "ошибках" — стихотворении к Муравьеву. Его подбивали (Строганов) написать стихотворение, что этому человеку надоела катковская газета, но что некрасовские стихотворения могли бы на него подействовать и укротить. "Я тогда проводил много дней не лучше, чем теперь... и посмотрите в стихотворениях — в тот же день, когда я написал эти двенадцать стихов, я написал стихотворение "Ликует враг..."

В "Стихотворениях", изданных при жизни Некрасова, в 1869-1873 годах, "Ликует враг..." напечатано как перевод "из Лары".

4.

"Петербург погибал. Надо было видеть, какие люди встали тогда из могил. Надо было слышать, что припоминалось, отомщалось и вымещалось... Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы".

М. Салтыков-Щедрин. Господа Ташкентцы.

Стихотворение оказалось пророческим. Враги ликовали. Вчерашние друзья в самом деле покачивали головой, хотя и отнюдь не молчали. "Боже мой, — повторял своим единомышленникам Антонович, один из членов "консistorии" (так шутя называли себя сотрудники редакции "Современника", почти все учившиеся в духовных семинариях) — боже мой! Что было бы с неумолимо и Неподкупно строгим Добролюбовым, если бы это случилось при нем и если бы какой-нибудь злой человек сказал ему: вот каков ваш приятель! Он весь сгорел бы от разочарования и негодования". Молодой революционер — каракозовец Иван Худяков гневно выразил свое отвращение к этому поступку: "Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы за свой собственный счет построил для нас виселицы". Соредакторы смотрели на Некрасова с откровенной неприязнью. Враги разыгрывали благородное негодование; даже Катков обругал Некрасова в "Московских ведомостях", даже Буренин его поносил. Другие из правого лагеря откровенно торжествовали. Словно актеры, участники спектакля, знали то ночное стихотворение-исповедь и его использовали в качестве сценария. Все реализовалось, что предвидел Некрасов: ликование врагов, недоумение друзей, жирные поцелуи безличных, позорный столб.

Однако "ликующие" и "празднболтающие" ошиблись: они напрасно спешили "в объятия к новому рабу". Некрасов еще не продан в рабство. Его поступок был тактическим маневром, который успехом не увенчался: через месяц с небольшим после злополучного обеда в Английском

клубе особая комиссия под председательством князя П.П. Гагарина приняла постановление — предложить правительству немедленно прекратить "издание тех журналов, которые с давнего времени служат проводниками вредного направления", "которые постоянно, с давнего времени, развивая на своих страницах учение социализма и нигилизма, более прочно способствовали развращению молодого поколения". Правительство не замедлило выполнить эту рекомендацию.

Газета "Северная почта", 1866, 3 июня:

"По высочайшему повелению, объявленному министру внутренних дел председателем комитета министров 28 минувшего мая, журналы "Современник" и "Русское слово" вследствие доказанного с давнего времени вредного их направления прекращены".

В образованных кругах слышался глухой ропот. "Современник" служил для многих окном в отечественную словесность и в мировую культуру, к тому же был и совестью русского общества. Жена Григория Захаровича Елисеева, одного из соредакторов "Современника", ехала в тот день, третьего июня, в конке; среди пассажиров разгорелся спор о закрытии "Современника". Позднее Екатерина Павловна рассказывала: "Из публики особенно выдавался один пожилой моряк, по-видимому, отягощенный чинами, он так горячо и с таким азартом доказывал, что правительство не имеет права, в виду единичного случая, наказывать все общество, что его дело наказывать свою полицию за недосмотр и неумелость, а не все общество, лишая его духовной пищи, что желать, чтобы общество поглупело, не значит желать лучшего..."

Екатерине Павловне рассказать бы об этом мужу, но Елисеев был под арестом в Петропавловской крепости — он делил судьбу многих петербургских журналистов: содержались под стражей Григорий Евлампиевич Благосветлов, редактор "Русского слова", братья Василий и Николай Курочкины, руководители "Искры", да и многие другие — Минаев, Зайцев, Слепцов, Покровский, Европеус... Граф Муравьев и стоявший за его спиной Катков были убеждены, что весь вред — от литературы. Муравьев стремился

всех смертельно напугать, внушить непреходящий ужас; когда к нему, рыдая, пришла на прием мать Курочкиных, — просила выпустить больного Василия Степановича, — он бросился на нее, сорвал с головы ее чепчик и растоптал ногами.

Некрасов случайно ушел от тюрьмы. На другой день после ареста Елисеева, когда в квартире хозяйничал жандарм Теньков и его подручные, снимавшие допрос с прислуги и соседей, в дверь позвонили — то был Некрасов.

Екатерина Павловна тотчас обратилась к офицеру и заявила, что господина Некрасова не знает и что это не ее знакомый. Теньков возмутился — он стал допрашивать прислугу, но нужных ему сведений не получил.

Говорит Екатерина Павловна Елисеева.

Во все продолжение этой борьбы Некрасов стоял посредине залы бледный, суровый.

Когда был окончен допрос прислуги, то Некрасов, обратись к Тенькову, сказал, что он приходил к своему сотруднику Елисееву, низко поклонился мне и благополучно вышел.

После его ухода Теньков, до сих пор прилично сдержанный, чуть ли не с пеной у рта и с сжатыми кулаками начал кричать на меня, что я у правосудия выхватила самую ценную добычу, что они много бы дали, чтобы найти какой-нибудь клочок или иной повод взять этого подлеца, что я не понимаю, какой это вредный иезуит и что из-за него половина сидит, а он остается невредимым и катается в колясках, что он думает подкупить правосудие, написавши и читавши стихи в честь Муравьева, но Муравьев во время его чтения с презрением отвернулся от него, и, уж, погоди, не увернется он, не может быть, чтобы нельзя было его запощать, и проч. и проч.

Он до того взбесился, что мой брат встал, подошел к нему и сказал:

— Г. Теньков, не забываетесь, исполняйте ваше дело, а не впутывайте вещей, не идущих к делу.

Этот эпизод я считаю необходимым ввести, так как он, кажется, единственный случай, который указывает de facto, что Муравьев имел намерение арестовать Некрасова.

Некрасов был единственным из друзей Елисеева, кто решился прийти в его дом после ареста. Редакторы других журналов, "Русского слова" и "Искры", уже были за решеткой, Некрасова ждал арест — его "Современник" был го-

раздо левее других органов прессы, да и каракозовцы на допросах говорили о влиянии на них романа Чернышевского "Что делать?", опубликованного "Современником". Никакой "мадригал" не мог отвести от его головы опасность, — Муравьев, как видим, имел явное намерение с ним расправиться. Вот это Некрасов понимал, а все же в дом Елисеева пошел. Почему пошел? А вот почему. Однажды он сказал писателю Боборыкину — эти слова всегда были для него программой жизни:

— Хуже трусости ничего быть не может! Как только человек струсил, — он погиб, способен на всякую гадость... сейчас же превращается в зверя.

5.

**Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?..
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа!..**

Н.А. Некрасов. 1867.

Правительственное постановление о закрытии "Современника" еще не было опубликовано, когда Некрасов уехал к себе в поместье. Жизнь в Петербурге была невозможна.

**Федору Алексеевичу Некрасову в Карабику
Любезнейший брат Федор Алексеевич.**

Вчера (17 мая) я отправил егеря Ивана Макарова в Карабику; в пятницу или субботу думаю ехать сам... Найми для нас прачку и горничную. Пожалуйста, не поленись. Я так измучился с журналом, что желал бы в деревне отдохнуть в полном спокойствии. От тебя немало будет зависеть для меня его устроить.

Весь твой

19 мая

Н. Некрасов

Полного спокойствия не получилось, оно и не могло получиться. Из столицы доходили вести о терроре; Елисеева отпустили на поруки только в конце июля, суд над каракозовцами продолжался, — ждали виселиц. Некрасов

ездил на охоту, но отвлечься не мог. В лесу было легче и проще, а воображение постоянно переносило в Петербург, ни на миг нельзя было забыть врагов, друзей и особенно "безличных" — тех, кто пригвождали "жирным поцелуем несчастного к позорному столбу". На столе его лежало письмо, полученное ранней весной, в начале марта — в прошлую эру, когда еще не было ни каракозовского выстрела, ни графа Муравьева. Письмо содержало стихотворение, подписанное "Неизвестный друг"; то была защита Некрасова от обвинений, сыпавшихся на него со всех сторон, от клеветы и злоречия. Неведомый автор отбивался от сплетен и осуждения, он во что бы то ни стало хотел верить в любимого поэта и защищал его — защищал своей любовью, а не доводами. Некрасов много раз перечитывал "эту пьесу, превосходную по стиху", он уже помнил ее наизусть.

Не может быть

(Н.А. Некрасову)

Мне говорят: твой чудный голос — ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словом лишь толпу к себе влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою.
Но их речам меня не убедить:
Иное мне твой взор сказал невольно;
Поверить им мне было б горько, больно...
Не может быть!

Некрасова чуть ранило это сомнение: "неизвестный друг" не отвергает обвинений в притворстве, демагогичности, лицемерии, он не хочет их принимать, это было бы слишком горько. В стихах Неизвестного — удивительная честность, бесхитростное доверие к своему чутью. Трогательны даже эти, столь человеческие, колебания, в которых можно безошибочно узнать женщину:

Все говорят, что ты душой суров,
Но лишь в словах твоих есть чувства пламень,
Что ты жесток, что стих твой весь любовь,
А сердце холодно, как камень!
Но отчего ж весь мир сильней любить
Мне хочется, стихи твои читая?
И в них обман, а не душа живая?!
Не может быть!

Он давно не сомневается в том, что его считают холодным, черствым, жестоко-расчетливым дельцом, лишь на словах проповедующим любовь. Добрый Неизвестный хочет видеть в его поэзии подлинную живую душу Некрасова, а в суровой холодности — внешнюю, обманчивую оболочку. А что, если друг неправ?

Способен ли человек знать сам про себя, что в нем суть, а что — оболочка? Некрасов, прославивший в стихах Комиссарова и Муравьева, может ли защищаться? Ведь и в самом деле стих его опозорен: в оде Комиссарову, в мадригале Муравьеву — "обман, а не душа живая..."

Но если прав ужасный приговор?
Скажи же мне, наш гений, гордость наша,
Ужель судит потомства строгий взор
За дело здесь тебе проклятья чашу?
Ужель толпе дано тебя язвить,
Когда весь свет твоей дивится славе,
И им сказать в лицо молве не вправо —
Не может быть?!

Ужель, скажи, ужель клеймо стыда
Ты положил над жизнь свою?
Твои слова и я приму тогда
И с верою расстануся моею.
Но нет! И им ее не истребить!
В твои глаза смотрю с немим волненьем,
И я скажу с глубоким убежденьем:
Не может быть!

Она — это несомненно она — ждет ответа, который бы развеял ее сомнения. Но ответить он не может, очиститься перед нею от вины не может, потому что вина его неизгладима. Враги правы: он слаб, покрыт позором. Несколько раз Некрасов принимался за ответ, который был бы ответом не только ей — всей России. Но что он мог сказать, как оправдаться?

Весь пыткой нравственной измятый,
Уже опять с своим пером,
Как землекоп с своей лопатой
Перед мучительным трудом, —
Он снова Музу призывает...

Муза молчит — она не находит никаких слов для оправдания. Разве только одно: его вина порождена темным временем, породившим и его самого, с его барством, страстью к азартной карточной игре, к богатству, и его поэзию.

Чего же вы хотели б от меня,
Венчающие славой и позором
Меня. Я слабый человек,
Сын времени, скупого на героя.
Я сам себя героем не считаю.
По-моему, геройство — шутовство...

Продолжать он не стал — в этих строках все было сказано, но вовсе не то, чего от него ждет Неизвестный друг. Только зимой 1867 года, возвратясь в Петербург, он, наконец, найдет в себе силы ответить. Он создаст изумительное стихотворение, которое вынашивалось почти полтора года и в котором сведены воедино мысли поэта о себе, своем призвании, своих слабостях, винах и заслугах.

Посвящается неизвестному другу,
приславшему мне стихотворение
"Не может быть".

Умру я скоро. Жалкое наследство,
О родина! оставлю я тебе.
Под гнетом роковым провел я детство
И молодость — в мучительной борьбе.
Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая — навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины.
На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след.
Как мало знал свободных вдохновений,
О родина! печальный твой поэт!
Каких преград не встретил мимоходом
С своей угрюмой музой на пути?..
За каплю крови, общую с народом,
И малый труд в заслугу мне сочти!

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала

Моя рука... Давно я одинок;
 Вначале шел я с дружною семьею,
 Но где они, друзья, мои, теперь?
 Одни давно расстались со мною,
 Перед другими сам я запер дверь;
 Те жребием постигнуты жестоким,
 А те прешли уже земной предел...
 За то, что я остался одиноким,
 Что я ни в ком опоры не имел.
 Что я, друзей теряя с каждым годом,
 Встречал врагов все больше на пути —
 За каплю крови, общую с народом.
 Прости меня, о родина! прости!..

Я призван был воспеть твои страданья,
 Терпеньем изумляющий народ!
 И бросить хоть единый луч сознания
 На путь, которым бог тебя ведет,
 Но жизнь любя, к ее минутным благам
 Прикованный привычкой и средой,
 Я к цели шел колеблющимся шагом
 И для нее не жертвовал собой,
 И песнь моя бесследно пролетала,
 И до народа не дошла она.
 Одна любовь сказаться в ней успела
 К тебе, моя родная сторона!

За то, что я, черствея с каждым годом,
 Ее умел в душе моей спасти,
 За каплю крови, общую с народом,
 Мои вины, о родина! прости!..

Эта исповедь посвящена Неизвестному другу, но обращена к России. И если Ольга Мартыновна, автор того стихотворения, прочитала некрасовский ответ на свое "Не может быть", она испытала глубокое потрясение: ее голос оказался для Некрасова голосом Родины. Некрасов не соглашался с ее "не может быть". Нет, это м о ж е т б ы т ь, ответил он. Потому что он был слаб и робок, внутренне опустошен и внутренне — раб. Он порой исторгал из своей лиры "неверный звук", и остался в невыносимом, безнадежном одиночестве. Он был неспособен на героическое самоотвержение и, привязанный к "минутным благам" своего барства "при-

вычкой и средой", не выполнил своей миссии. А миссию эту определил с поразительной точностью:

Я призван был воспеть твои страданья,
 Терпеньем изумляющий народ!

Это было задачей Некрасова-лирика.

И бросить хоть единый луч сознания
 На путь, которым бог тебя ведет...

А это — задачей Некрасова-просветителя, издателя "Современника", соратника Белинского, Добролюбова и Чернышевского.

Всего этого он, как ему казалось, не выполнил. После него остается "жалкое наследство", "малый труд" — "песнь... бесследно пролетела и до народа не дошла она". И оправдывает его только одно: любовь к стране и народу. Только за одну малость может простить его родина: "За каплю крови, общую с народом..."

Трудно поверить, что именно эти слова — слова предельной, небывалой искренности — вызвали шквал издевок. Максим Антонович, прежде соредактор "Современника", опубликовал в 1869 году книжку-пасквиль на Некрасова, — и сколько раз поминал эту каплю крови, с каким озлоблением!

Говорит Максим Антонович:

Он думает о себе, что он до того усердно воспевал русский народ, что на пальцах у него выступила "капля крови"... За эту каплю "крови" он вправе требовать себе индальгенции за разные гражданские грешки, и тем более, как он сам говорит, что во 1-х он не получил в детстве хорошего воспитания, во 2-х не имеет друзей и "ни в ком не находит опоры" и в 3-х любит "блага жизни". Всякий снисходительный и гуманный человек признает всю силу и основательность этих прав г. Некрасова на снисходительность и прощение.

Спорить с М. Антоновичем из XX века бессмысленно — Некрасов и его поэзия себя отстояли в противоборстве с противниками и временем. Соредактора по "Современнику"

Максима Антоновича опроверг в ту пору другой соредатор, Григорий Елисеев, чьи слова надобно привести, и тогда закончатся драматический диалог.

Говорит Елисеев:

Известна древняя пословица: "Ты сердисься. Юпитер, следовательно ты неправ". Гомеопатические дозы истины... теряются... в таком обилии инсинуаций, сплетен, кривых толкований, извращающих смысл фактов, предсказаний и различного рода произвольных соображений и измышлений, что стирается всякая грань между истиной и ложью... всюду выступает лишь сила личного раздражения, преследующая одни личные цели и расчеты, которая при этом не пренебрегает никакими средствами для сокрушения своих противников, даже и доносом.

Это относится ко многим ненавистникам Некрасова, нападавшим на его "рenegатство" и на его исповедь, издевавшимся над словами "капля крови", — к Щербине, Минаеву, Каратыгину, даже Фету. Среди них всех особое место занимал Иван Худяков, молодой революционер-каракозовец, погибший в Сибири. В своей автобиографии (вышедшей в 1882 году посмертно) Худяков написал уже приведенные прежде слова о подлом поступке Некрасова и о том, что лучше бы он построил виселицы. И тогда снова и уже во всеоружии своего блестящего публицистического таланта выступил Григорий Захарович Елисеев.

Говорит Елисеев

... На руках у Некрасова было большое публичное дело, гораздо большее, может быть в десять, во сто раз большее, чем каракозовское. Мы разумеем дело расширения и упрочения за прессою свободного слова, с целью дать возможно широкое распространение в обществе новой идеи. Из всех писателей 40-х годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным носителем и служителем и остался таким до конца жизни... На это посвятил он весь свой громадный талант...

Теперь, с назначением Муравьева следователем по каракозовскому делу, наступил момент, когда все это ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать озлобленный Муравьев, кото-

рого тогда покойный царь выходил встречать на крыльцо, когда Муравьев ехал к нему с докладом... И вот для умиловления этого чудовища, которое было способно и готово пожрать всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в честь Муравьева и прочитав публично в клубе стихотворение...

... Жертва, принесенная Некрасовым чудовищу, была, по нашему мнению, не только вполне законна, но и необходима, — и необходимость ее наверное будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке... Даже перед смертью, мучимый страшною болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить в нем покаяние. Так давила его и мучила жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

Кажется, во всей мировой поэзии нет произведения более трагического, самоуничужительного, даже самоубийственно-го, чем исповедь Некрасова Неизвестному другу. Поэты исповедуются часто, но можно ли поставить рядом с этой некрасовской песнью еще одну столь же бесстрашную и беспощадную исповедь? Некрасов имел все основания вслед за Горацием, Ломоносовым, Державиным, Пушкиным сказать: "Я памятник себе воздвиг нерукотворной..." А сказал он, что был рабом, что продавал свою идею, что "к цели шел колеблющимся шагом", что был неспособен на героизм, что черствел с каждым годом, что народ не принял его поэзию.

Все это было беспредельно искренно, и все это оказалось заблуждением. Некрасов умер столетие назад, незадолго перед смертью горестно повторив:

Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал.

Но уже над гробом его прозвучали чьи-то строки, выражавшие скорбь народа:

... будешь жить ты в памяти народной,
Навеки сохранишься в ней,
Поэт могучий, гений благородный
И слава родины твоей!

Достоевский же, поставив Некрасова в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым, в своей надгробной речи говорил о том, что "это было раненное сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли..." Протекшее с той поры столетие подтвердило справедливость этих слов.

Хорошо знавшая и любившая Некрасова Екатерина Павловна Елисеева кончила свои воспоминания словами, обращенными к поэту:

"Мир праху твоему! "За каплю крови общую с народом" нам не простить, а завидовать тебе должно".

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ
ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО"

ВЫХОДИТ В НЬЮ-ЙОРКЕ, США
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АНДРЕЙ СЕДЫХ
66-й ГОД ИЗДАНИЯ

"НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО" РЕГУЛЯРНО ПЕЧАТАЕТ ДОКУМЕНТЫ САМИЗДАТА, ПРОТЕСТЫ ИЗ СССР, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛУЧШИХ ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ПУБЛИЦИСТИКУ И ПР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 45 ДОЛЛАРОВ В ГОД;
25 ДОЛ. - 6 МЕСЯЦЕВ
ВОСКРЕСНОЕ ИЗДАНИЕ ТОЛЬКО: 20 ДОЛ. В ГОД
ГODOVAYA ПОДПИСКА ВОЗДУШНОЙ ПОЧТОЙ
(ПАЧКАМИ ПО 6 НОМЕРОВ) : 130 ДОЛЛАРОВ В ГОД

ПОДПИСКУ С ПЛАТОЙ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
"NOVOE RUSSKYE SLOVO"
243 WEST 56 St., NEW YORK. NY., 10019 USA.

"ВРЕМЯ И МЫ"

Объявляется подписка на журнал "Время и мы" на 1978 год. В связи с непрекращающейся инфляцией, ростом цен на бумагу и полиграфические работы, а также в связи с отсутствием помощи журналу со стороны государственных органов Израиля, устанавливаются следующие цены на журнал в 1978 году:

Цена подписки на полгода — 192 лиры.

Цена подписки на год — 348 лир

Цена в розничной продаже — 36 лир

Все цены включают налог на дополнительную стоимость, а при подписке — стоимость доставки.

Для того, чтобы подписаться на журнал, необходимо прислать в редакцию заказ и приложить к нему чек. Оплату можно произвести в форме двух чеков при полугодовой подписке (последний чек в ноябре 1977 г.) и трех чеков при годовой подписке (последний чек в декабре 1977 г.)

Адрес редакции

ул. Нахмани, 62 Тель-Авив, или п.я. 24123, Т.-А.

У С Л О В И Я П О Д П И С К И З А Р У Б Е Ж О М

В США и Канаде - 39, 20 \$ (на год)

Во Франции — 184 F.FR — — — — —

В Германии — 92 DM. — — — — —

"ИЗМЕНЧИВОСТЬ"

(стихи поэтов Англии и Америки в переводах
Георгия БЕНА)

Книга вышла в издательстве "Время и мы". В ней вы сможете прочесть стихи многих широко известных и малоизвестных поэтов Англии и Америки с XVI века до наших дней: Байрона, Шелли, Китса, Киплинга, Суинберна, Томаса Гарди, Джона Мейсфилда, Эдгара По, Ральфа Уолдо Эмерсона, Вэчела Линдсея, Ленгстона Хьюза, Огдена Нэша и многих других.

Стоимость книги в Израиле: при заказе по почте — 17 лир, в магазине — 22 лиры. Стоимость за границей — 2 доллара.

Заказы принимаются по адресу:

Издательство "Время и мы", ул.Нахмани, 62/9, Тель-Авив, Израиль

или

Г. Бен, ул. Эйлат, 56/47, Холон, Израиль.

К заказу должен быть приложен чек и в нем указан адрес, по которому высылать книгу.



ЛИДЕРЫ И ПОЛИТИКА

Читатели, знакомые с темами и рубриками нашего журнала, не могли не обратить внимание на то, что современная политика находится вне поля зрения редакции. Хотя именно она, политика, и политические лидеры приобретают в современном мире все большую роль. Опыненные азартом политической игры, беззащитно, порой утратив чувство реальности, они манипулируют судьбами стран и народов, ведя не к согласию и сотрудничеству, но — к конфликтам и противоборству. Центром этого мирового противоборства стал Ближний Восток, расчерченный баррикадами, превратившийся в болевую точку нашей планеты. Но вглядываясь в это кажущееся вечным противоборство, вдумчивые наблюдатели неожиданно сталкиваются с такими парадоксами, объяснить которые, оказывается, не в силах никакая идеология. И тогда становится очевидным, что биологические законы жизни — в равной мере и простых смертных и вождей — оказываются сильнее политических доктрин и идеологических постулатов. И Ближний Восток в этом смысле отнюдь не исключение. И кто знает, может быть, личность Бегина окажет на судьбу и будущее Ближнего Востока куда большее влияние, чем все вместе взятые доктрины его политического движения. А может быть, решающее влияние окажут личность и психология Садата. Впрочем, на этот счет существует и третья точка зрения, которую трудно принять стереотипно мыслящему сознанию, и с которой мы бы и хотели познакомить наших читателей: Бегин и Садат — не только противоборствующие лидеры, это и политические близнецы, обладающие почти одинаковой психологией и именно это, возможно, окажет влияние на будущее Ближнего Востока.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ



Мордехай САКАР

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ У БАРРИКАДЫ

"Хотам" октябрь 1977. ("Бегин и Садат")

Главе израильского правительства Менахему Бегину и президенту Египта Анвару Садату присущи весьма и весьма сходные черты характера и поведения. Быть может, это лишь ирония судьбы, но она свела у баррикады ближневосточного конфликта двух мужей с одинаковым почти строем души. А может быть, именно в этом сходстве и заложен скрытый шанс, который принесет нашему району волшебную формулу, приемлемую для враждующих сторон, каким бы безнадежным это дело ни казалось.

Оба руководителя перенесли серьезные заболевания сердца незадолго до их "помазания" на высший пост. О Садате говорят, что когда он узнал о смерти Насера, он настолько разволновался, что у него был нарушен ритм сердца, и ему пришлось пройти курс весьма энергичного лечения.

Дальнейший ход событий показал, что перенесенный им шок был вызван не столько кончиной "вождя", сколько тут же промелькнувшей надеждой на то, что смерть Насера открывает перед ним дорогу к вожделенной вершине, к столь затянувшейся сокровенной мечте стать когда-нибудь

президентом страны. Пока Насер был жив, об этом не могло быть и речи.

Любопытно, что Бегину тоже пришлось пройти курс интенсивного кардиологического лечения незадолго до выборов, когда опросы общественного мнения показали, что близок перелом, и что вот-вот сбудутся и его сокровеннейшие и не менее упрямые мечты.

Благодаря огромному волевому усилию оба руководителя превозмогли свою болезнь, и теперь они полны решимости выполнить предназначение, выпавшее на их долю столь неожиданным образом. Оба они успешно справляются со своими нелегкими обязанностями, трудятся не покладая рук, так что "трудотерапия", оказывается, помогает даже политическим деятелям превозмочь свои недомогания. Вместе с тем они оба не забывают наставлений врачей, предписывающих им обязательный покой и отдых. У обоих распорядок дня предусматривает неукоснительные "сиесты". Эти часы послеобеденного отдыха время от времени совпадают с их таинственными "исчезновениями" ради поддержания "особых контактов". Всем еще памятен "отдых" Бегина во время его недавнего визита в Румынию, вызвавший множество слухов о какой-то секретной встрече. Садат вызвал не меньшую бурю, когда он заявил, что берет себе отпуск на весь "Рамазан". Очень многие решили тогда, что Садату необходимо уединиться не столько ради отдыха, сколько ради усиленной "разработки" новых антиизраильских козней.

Нет никакого сомнения, что состояние здоровья вызывает у обоих постоянные опасения перед новым сердечным приступом, и это вселяет в них чувство, будто они бегут наперегонки со временем. От того они и стремятся действовать как можно быстрее, чтобы успеть насытить очередную главу своей биографии как можно более богатым содержанием.

Любопытно, что оба вождя, как только они пришли к власти, почувствовали потребность заявить, что сложат свои обязанности по истечении одной-единственной парламентской каденции, а затем посвятят себя литературным и историческим занятиям, будут писать мемуары в назидание потомству.

Нет сомнения, что эта потребность ограничить во времени свои высокие функции также проистекала из соображений здоровья.

В 1970—71 годах Садат при всех встречах с представителями средств массовой информации и "зодчими" общественного мнения особенно любил распространяться о временном характере своего правления. Садат упрямо твердил тогда, что он полон решимости подать в отставку по истечении первого же срока президентского правления. Однако у него все-таки не хватило сил сопротивляться сильнейшему и беспрестанному нажиму. Так что ему пришлось подчиниться "наказу народа", ни о чем так не мечтавшему, как о том, чтобы он, Садат, ходил в президентах до конца своих дней, и выразившего свое желание единодушным голосованием на съезде партии Социалистического единства.

Менахем Бегин только недавно стал главой правительства, но при создавшихся обстоятельствах и в рамках возглавляемого им движения уже сейчас вполне очевидно, что и он не устоит перед нажимом его соратников и поклонников и соблаговолит в конце концов подчиниться "наказу движения", когда настанет время и возникнут подходящие условия.

Как Бегин, так и Садат, преисполнены сознания своей миссии "облагодетельствовать народ" и привести его в желанную гавань прочного и справедливого мира. Однако, за пределами этого принципа, их взгляды на прочный и справедливый мир расходятся: Садат стремится к "арабской справедливости", тогда как Бегин — к "справедливости исторической". Оба убежденно говорят о "страданиях народа при прежнем режиме" и готовы повести свои народы в социальный и экономический золотой век.

В начале своего правления Садат то и дело обрушивал на египетский народ один радужный план за другим, красочно рисовал величие обновляющегося под сенью его власти Египта, обещал лично содействовать решению социальных и экономических проблем, поддержать униженных и оскорбленных и железной метлой вымести закосневшую бюрократию, погрязшую в коррупции. Он призывал "эмигрантов" вернуться на родину и помочь в строительстве страны, зазы-

вал инвеститоров со всех концов света: "Стройте Египет и устраивайтесь сами!" Он обещал упразднить нищету, неграмотность, болезни и прочие проявления отсталости.

Когда ему — в силу объективных причин — не удалось выполнить свои обещания, найти козла отпущения оказалось нетрудным. "Не прекращающееся состояние войны с Израилем проглатывает львиную долю государственного бюджета". Все это чуть ли не стереотипно повторяется и у главы израильского правительства, с той лишь разницей, что в последнем случае еще рано делать выводы, так как Бегин только начал свое правление. Своими устами Садат был искренне готов облагодетельствовать свой народ; из уст же Бегина также "сыплются" жемчужины.

Что касается их политического кредо, то оба руководителя придерживаются националистически-клерикальной линии.

Правда, лично и тому и другому присущи элементы либеральных воззрений — ни тот, ни другой не могут скрыть свою глубокую неприязнь ко всему, что так или иначе связано с коммунистическими идеями, отсюда их отвращение к СССР. Отсюда и выводы многих специалистов, которые все чаще и чаще обнаруживают признаки того, что Египет окончательно отвернется от социализма. Однако государственная собственность над предприятиями и контроль за экономикой — факторы весьма сложные, отмахнуться от которых не так-то просто. Совершенно те же тенденции заметны и у главы израильского правительства.

Приверженность Садата к националистической линии привела к весьма заметному возрождению клерикализма в Египте. Многие египтяне возвращаются в лоно ислама или еще строже выполняют его предписания. Это приводит, естественно, к возникновению крайних клерикальных групп, стремящихся распространить принципы Корана на все области жизни. Не будет ничего удивительного, если и у нас "зеленая улица", открытая главой правительства клерикальным силам, приведет к возникновению группы zelотов, которые начнут призывать к борьбе с "безбожниками".

Как Бегин, так и Садат, сочувствуют в глубине души

трудящимся массам, но это искреннее сочувствие не помешало им одобрить мероприятия своих правительств относительно субсидий. Садат, правда, заявил вдруг, что ему не были ясны ни подробности, ни значение этого мероприятия, — он был целиком занят гораздо более важными государственными делами. Бегину такого заявления делать не пришлось, так как он позаботился, чтобы меры эти были приняты в его отсутствие, когда он поехал в США для судьбоносной встречи с президентом Картером, и, естественно, ни до чего другого у него руки не дошли. В Египте Садату, однако, пришлось откликнуться на происшедшее, когда вспыхнули памятные всем "бунты субсидий" и пришлось эти бунты безжалостно подавить. Бегину не пришлось откликнуться ни так, ни эдак, но "алиби" на всякий случай было приготовлено.

В душе оба деятеля очень чувствительны к критике, однако виду не подают, а напускают на себя такую плотную маску равнодушия, о которую вроде бы должны разбиваться все стрелы, выпускаемые по ним. Как правило, Бегин скрывает свою истинную реакцию на критику подчеркнутой небрежностью: демонстративно встает, по обыкновению, со своего кресла в кнесете, подходит то к одному из своих товарищей, то к другому, ведет с ними короткие беседы, а то и просто "зевает от скуки", выражая этим свое пренебрежение к "несуветной чуши", которую обрушивают на него политические противники. Но именно этим своим поведением он и обнаруживает свою истинную уязвимость.

Внешне Садат не так беззащитен: он распоряжается средствами информации, направляет их так, что ему ничего не стоит "вымарать" из телепередачи все, что его не устраивает. Вместе с тем, их особая чувствительность к критике заставляет обоих делать время от времени заявления, что они видят в критике их самих по-настоящему демократический акт. И именно поэтому они ее всячески поддерживают.

Садат удачно продемонстрировал все это на публичной встрече с представителями бастовавших после "кризиса субсидий" в 1976 году. Он вообще нередко встречается "на виду

у всего народа" с представителями интеллигенции и студенчества, чтобы публично выяснять отношения.

Бегин столь же искусно подчеркнул свою готовность к самокритике, когда он призвал сатирического актера — на идиш — Джигана включить в программу и его самого, и даже обещал лично прийти на спектакль.

Оба они до такой степени подвержены эмоциям, что нередко не в состоянии справиться с собой и роняют на виду у всех, вполне искренне, слезу; с другой стороны, они ловко используют эти свои "минутные слабости", одолевающие их в нужный момент для того, чтобы снискать дополнительную симпатию у масс.

Образ Садата, рыдающего у гроба Насера, — выставляй хоть в музей. Бегин тоже нередко признается: "Эта встреча тронула меня до слез..."

Присущее им чутье и патетичность позволяют тому и другому улавливать настроения близких к ним и сочувствующих кругов, сокровенные мечты, желания, запросы, чаяния народных масс — устанавливать путем подчеркнутого и даже интимного внимания к "воле народа" контакты высокого напряжения со своей "паствой", весьма дешево покупая ее симпатии.

В то же время эти страстные порывы толкают их нередко к необдуманному, но все равно обязывающим заявлениям.

Оба они — выходцы из экстремистских подпольных движений, не пользовавшихся в свое время сочувствием и поддержкой со стороны большинства народа. Период подполья наложил свой отпечаток на их противоречивый характер: с одной стороны, страстная, льющаяся через край, любовь к людям, а с другой — неукротимая ненависть ко всем тем, кого они считают своими противниками. Бурный, упрямый, даже бунтарский и беспощадный дух — с одной стороны, и тут же — добродушие и необыкновенная гуманность. Они высоко ценят человека как такового, но без колебаний издадут "боевой приказ" против тех, кто посягает на их святыни.

И еще: оба проявляют подчеркнутую скромность в личной жизни и отличаются мещанскими замашками в жизни семей-

ной. Они то и дело демонстрируют свою ни с чем не сравнимую привязанность к женам, детям и родне, стараются проводить каждую свободную минуту в семейном кругу, играть с детьми и терпеливо выслушивать их каждодневное щебетание. Они признаются, что жены им во многом помогают и даже выражают свое мнение по поводу государственных дел и политических шагов своих мужей.

В случае Садата это отнюдь не соответствует мусульманским традициям и статусу арабской женщины. Но он, подобно своему израильскому коллеге, ведет себя как глава семьи среднего достатка, стремящийся к пасторальному покою после трудового дня. Обоим им чужда погоня за материальными благами, и их справедливо считают неиспорченными бесребрениками.

Свой политический путь они проделали как последователи и оруженосцы харизматических вождей: Бегин — Жаботинского, а Садат — Гамаль Абдель Насера. Однако в то время как Бегин и по сей день верен наследию учителя, Садат совершил "измену" и выработал собственные принципы.

У своих учителей они приобрели навыки пламенных трибунов, выступали на многолюдных митингах и выработали особые ораторские приемы — театральность, многословие и "зажигательность". Любопытно, как оба сумели при изменившихся обстоятельствах умерить свой темперамент и избрать совершенно новую манеру в своих публичных выступлениях: относительно краткие речи, негромкий, сдержанный тон, умеренная жестикация и искусство приспособлять текст ко вкусам той или иной публики. Садату удается даже представлять свое косноязычие как глубоко-мысленное обдумывание каждого слова, тщательный подбор наиболее точного термина, как это и приличествует государственному деятелю.

С первых своих шагов оба столкнулись с пренебрежительным отношением со стороны широких слоев населения как на родине, так и за рубежом. Тогда на них смотрели как на болтливых шутов, не способных на настоящее дело. Однако, как стало очевидно впоследствии, оба поручили лучшим

мастерам рекламы создать себе совершенно новый образ. Быстрота и успех этого "преображения" превзошли всякие ожидания. По совету специалистов, они усвоили манеру выступления, меняя ее каждый раз в зависимости от собеседника и аудитории, то ли ответственной, то ли заграничной.

Похоже, что больше всего они преуспели в искусстве использовать личные контакты с представителями средств массовой информации. Любой корреспондент, берущий интервью, будь он самым непреклонным, не может не растаять, когда вождь обращается к нему запросто и на ты. Садат почти всех корреспондентов называет на ты, а говорит он с ними таким дружеским, интимным тоном: "Послушай, Барбара, я тебе скажу со всей искренностью..." (в интервью Барбаре Уолтере, звезде телевизионной компании Эй-Би-Си).

Бегин, когда на него наседают, называет корреспондента по фамилии и не забывает величать его "господином": "Дорогой господин имярек, вы ведь понимаете, что об этом я не могу распространяться..." и т.д. Ясно, что после такого сердечного, личного общения с вождем "господин имярек" делается податливым, а сердце его — смягчается.

И Бегин, и Садат не прочь продемонстрировать свою дружбу с ведущими политическими деятелями. Выражение "мой друг Генри" Садата стало стереотипным. Точно так же как заявление Бегина: "Президент Картер — настоящий друг".

Как Садат, так и Бегин знают цену средствам массовой информации и делают все от них зависящее, чтобы вести себя соответственно. Они знают, что "химия", устанавливающая стереотипный контакт между людьми, — продукт промышленности, выпускающей образы, и действует эффективно лишь тогда, когда образ соответствует ожиданиям архитекторов общественного мнения. Короче, и тот и другой — мастера рекламы.

Они любят подчеркивать при каждом удобном случае свою преданность демократии и готовы "отдать жизнь" за нее, хотя эта преданность и не совсем соответствует их психологии, мировоззрению и бурному жизненному опыту.

Похоже, что оба сделали своим девизом знаменитую шекспировскую фразу: "Кажись невинным цветком, но будь

коварной змеей". Похоже, что это, — наиболее важная доминантная черта поведения обоих мужей. И именно эта черта, которая оказала им такие услуги в период ожидания власти, в их сложном отношении как к внутренним проблемам, так и к переговорам с представителями великих держав, а также и в разработке формул решения ближневосточного конфликта, — именно это их общая черта и определит, возможно, когда-нибудь будущее нашего района.

Образ "цветка и змеи" нашел свое классическое завершение в переговорах с партией "Даш" по поводу создания правительственной коалиции. Этот эпизод заслуживает, пожалуй, глубокого изучения, и тогда он предстанет как шедевр макиавеллизма в политической науке. Садат успешно воспользовался тем же шекспировским девизом в первой половине 1971 года, когда он раскрепостил печать в Египте, а затем, уже в мае, преобольно укусил своих противников из числа бывших сторонников Насера.

Оба питают пристрастие к церемониям, пышным королевским почестям, ревниво отстаивают свою честь и гордость. Они любят высокопарный слог и красочные метафоры. Все у них "великое", "выдающееся", "огромное", "великолепное" и "блестящее". Понятно поэтому, почему им обоим понадобились знаменитые генералы на ключевых позициях, которые бы постоянно окружали их. У Бегина — это Шарон, Вейцман и Даян; у Садата — Гамаси и Мубарах. Быть может, не случайно и то, что Вейцман и Мубарах — воздушные асы, а Гамаси и Шарон — герои войны Судного дня.

Арабский язык словно специально создан для ритма бегинской речи, и он, пожалуй, еще пожалеет, что не владеет этим языком.

Оба — пугающе откровенны и недвусмысленны, когда излагают свое политическое кредо. Кажется, что оба они подсознательно уважают друг друга. Садат, даже высказался в дни правления Рабина, что он предпочел бы иметь дело с Бегиним, он тогда бы точно знал, какова истинная позиция Израиля во всем, что касается конфликта и путей его решения. Думается, что и Бегин питает известную симпатию к президенту Египта.



Александр ГЛЕЗЕР

И ГРЯНУЛ БОЙ...*

**"Боже мой, что это за общество,
которое вынуждено выпускать
бульдозеры против картин!"**

Джордж Мини

Еще в конце 1969 года, когда стало ясно, что все пути для организации выставок в помещениях надолго перекрыты, Оскар Рабин предложил устроить экспозицию на открытом воздухе — в парке, на улице, на набережной.

— В Париже или Лондоне это обычная вещь, — говорил он. — Почему бы и нам не попробовать?

В общем никто из художников Оскара тогда не поддержал. Володечка Немухин будто бы за всех и ответил:

— Пишу я картины, как хочу, продаю, кому хочу, не трогают меня, спасибо и на том.

Но осенью 1974 года ситуация стала совсем иной. Зимне-весенняя кампания карательных органов раскрыла сокровенное их намерение расправиться с нонконформистами и выкорчевать неофициальное искусство. Художники должны были как-то защищаться, и многие из них теперь высказались за оскаровскую идею.

Правда, большинство "старой гвардии" — те кто выбрал дорогу свободного творчества в памятном 1956 году — ссылаясь на разные причины, вновь отвергли вариант непривычной, дикой для России, экспозиции на улице.

Коля Вечтомов твердил, что его картины требуют музейной, а не площадной атмосферы. Отари Кандауров ссылаясь на дождливую погоду, Дима Плавинский говорил, что плохо себя чувствует, и лишь Илья Кабаков сформулировал, не лицемеря:

— Твоя затея, Оскар, — для двуногих, а я на четырех лапах хожу.

Однако появившиеся в последнее пятилетие молодые живописцы Юра Жарких, Женя Рухин, Эдик Зеленин, Вадим Комар, Алик Меламид, Надя Эльская и Саша Рабин — решительно стояли за открытое выступление, тем более, что оно позволяло им впервые выставиться на родине. Да и среди ветеранов нашлось у Оскара немало сторонников — Мастеркова, Немухин, Ситников.

2 сентября художники направили в Моссовет письмо, в котором сообщили, что намерены в воскресенье, 15 сентября, устроить просмотр картин на одном из городских пустырей. Реакция по обыкновению медлительного бюрократического аппарата была настолько стремительной, что уже 5 сентября подписавших письмо приглашают в Моссовет. Пошли Оскар, Юра Жарких, Надя Эльская и Сашка — сын Оскара. Встретившие их чиновники, во главе с заведующим одним из бесчисленных отделов К.А. Сухиничем — безликим, неопределенного возраста мужчиной, — тщетно искали хоть какую-нибудь инструкцию или постановление, на основании которых можно было бы сорвать наш план. Но нигде не был предусмотрен вариант с выставкой на улице. Впрочем, речь шла даже не о выставке (тут еще с грехом пополам можно было сослаться на то, что все экспозиции утверждает МОСХ), а о просмотре картин на открытом воздухе.

В письме мы старались отшлифовать каждое слово, но Сухинич и его коллеги все-таки отыскали зацепку, и один из них пошел на Рабина в наступление.

— Почему вы хотите показывать картины на пустыре?

* Глава из книги воспоминаний. © Molden-Verlag

— А почему не на пустыре?

— Почему же именно на пустыре?

— А почему не на пустыре? — однообразно повторял Оскар. Так и продолжался этот диалог, пока Сухинич не вмешался и, беспомощно пожав плечами, сказал:

— Вы хоть показали бы работы в МОСХе.

— А мы не против, — неожиданно согласился Рабин.

Хоть толику ответственности Сухинич мог теперь переложить на Союз художников: "Соберутся солидные люди, известные мастера. Посмотрят. Поговорите. А потом снова заглянете к нам."

Договорились нести картины в МОСХ 10 сентября, а восьмого Рабину приносят повестку из милиции на тринадцатое. Первая мысль — шантаж. Или: продержат без объяснений трое суток и сорвут все дело.

— Ничего не скажешь, — замечает Оскар, — научились работать...

В этот вечер окончательно распределяем роли. Заседаем, как водится, на рабинской кухне. Оскар, сидя в любимом углу возле окна, привычным жестом поправляет очки:

— Ты, Саша, пока вне игры. Ничего не подписываешь, никуда с нами не ходишь. Они могут подозревать все, что угодно. Это их дело. Твое же — до поры до времени — не "вылезать", а вот если произойдет непредвиденное, арестуют нас, избыют, отнимут картины, тогда включайся. Согласен?

Я, разумеется, согласился, но не стоит ли заранее установить связь с одним из надежных корреспондентов, который все, или почти все, будет знать и напишет.

Оскар одобритительно кивает. А Юрочка ходит по комнате, оглядывает свои полотна и мучительно вздыхает:

— "Мужчина и женщина" не пойдет. Мужчина с пипкой. Скажут — порнография. "Автопортрет" не годится из-за распятия. Скажут, религиозная пропаганда. На "Посвящении" тоже Христос. Как быть?

Когда ребята принесли холсты в МОСХ, их встретили там только секретарь парторганизации и его заместитель. Оба чиновники. Художники-мосховцы явно саботировали мероприятие: никого, видно, не прельщало выступать в роли

цензора и делить ответственность с Моссоветом. Секретарь и заместитель безмолвно осмотрели работы и распрощались, не задав ни единого вопроса.

11 сентября вновь свидание с Сухиничем. Но теперь вопросы задает Рабин:

— Где же обещанные вами мастера? Мнение чиновников нас не интересует. И вообще — довольно разглагольствований! Завтра будет объявлено время и место просмотра.

Сухинич обескуражен:

— Я не могу запретить вам устраивать выставку, но не рекомендую! Понимаете?

Несчастный советский Каакий Акакиевич. Наверху к окончательному решению не пришли. Распоряжений не спустили, а ему терзаться.

А у нас, между тем, свои заботы. Нужно срочно уточнить некоторые детали для заранее напечатанных на машинке приглашений. Под вечер последний раз отправляемся смотреть облюбованный пустырь — огромное кочковатое поле, вдали переходящее в лес.

— Подходящее место! — радуется Оскар. — Если придумаю какую-нибудь пакость, начнут ремонтные работы, например, — отойдем к лесу и будем показывать картины там.

Возвратившись, от руки вписываем в билеты: где состоится просмотр. Вычеркиваем из числа участников Брусиловского, который громче всех шумел, все время с апломбом что-то предлагал и при первом раскате грома ("не рекомендую") сбежал в кусты. Зато трое присоединились в последнюю минуту. Теперь время рассылать, точнее развозить приглашения: по почте не дойдут.

"Приглашаем Вас на первый осенний просмотр картин на открытом воздухе с участием художников: О. Рабина, Е. Рухина, В. Немухина, Л. Мастерковой, Н. Эльской, Ю. Жарких, А. Рабина, Боруха Штейнберга, А. Меламида, В. Комара, В. Ситникова, В. Воробьева, И. Холина. Просмотр картин состоится 15 сентября 1974 года с 12 до 14 часов по адресу: конец Профсоюзной улицы до пересечения с улицей Островитянова".

Приглашение скромное, но с подтекстом. Первый просмотр. Значит в перспективе и второй, и третий...

13-го утром Рабин в сопровождении друзей отправляется в отделение милиции. Все обходится благополучно. Лейтенант что-то невыразительно бормочет о штрафе — живут-де у вас без прописки люди. Оскар, не вступая в спор, достает из кармана деньги. Блюститель порядка принимает этот жест за "страх" и на глазах наглет:

— Безобразия! Ездят всякие, толкутся в вашей квартире!

Оскар бесстрастно прячет деньги: коли так, возьмите штраф через суд.

Днем в Моссовете снова нудит Сухинич, все с тем же надоевшим:

— Почему выбрали пустырь?

Как выяснилось позже, наверху полагали, что столь безотрадное место подыскано со специальной, провокационной целью: взгляните, в каких условиях нас вынуждают демонстрировать картины. В действительности само начальство и толкало неконформистов на пустырь.

Появись они в парке, на улице или на набережной, тотчас последовало бы в полном соответствии с уголовным кодексом: "Нарушаете общественный порядок!" А на пустыре и люди не ходят, и машины не ездят, и никакого общественного порядка не существует.

Но не станешь же все это втолковывать Сухиничу! К тому же у нас и времени в обрез: Оскар и я встречаемся с корреспондентом одной американской газеты. Рисуем ему общую обстановку, рассказываем о переговорах в Моссовете, о проблемах, которые могут возникнуть.

А наутро узнаем, что нашего полку опять прибыло. Нас уже двадцать четыре. Разрабатываем план так тщательно, словно готовимся к военной операции. Моссовет Моссоветом, но что замышляет КГБ? Оскар настроен оптимистично. Так устремлен к цели, что, отбросив присущую ему осторожность, упрямо, как заклинание, повторяет:

— Не такие уж они дураки, чтобы на весь мир устраивать шум!

Но провидец Жарких ждет самого худшего. Да и я в "их" благоразумие не очень-то верю. Главное, чтобы всех не задержали по дороге и не сорвали выставку. Поэтому (за исключе-

нием троих-четверых, которые должны добираться по одиночке) разбились на две группы.

Первая ночует у Рабина и едет к пустырю на метро — машину остановить милиции легче: не там свернули, на красный свет наехали, тысяча причин сыщется.

Вторая — ночует у математика Виктора Тупицына, давнего знакомого и почитателя художников. Его дом рядом с пустырем. Кстати, можно будет с утра пойти на разведку. И если что-то не так, на ходу сориентироваться. В 10 часов звонит Жарких:

— Все нормально.

— Видите, — торжествует Оскар и тотчас добавляет, — значит, договорились, если кого-то схватят, остальные не реагируют. Выставка должна состояться!

С картинами и зачехленными треножниками направляемся к метро. Мелкий настырный дождик. Холодно. Но настроение хорошее. Оскар срывает с придорожных кустов золотые осенние листочки и прикрепляет их к плащам спутников:

— Пусть они станут эмблемой сегодняшнего просмотра.

Если сбудется его пророчество, произойдет беспрецедентное событие — первая за пятьдесят лет советской власти свободная, без жюри выставка, да и какая — неофициального, трижды проклятого модернистского искусства.

Путь с двумя пересадками. Пролетает незаметно. Конечная станция "Беляево-Богородское". Поднимаясь по ступенькам, замечаю группу наблюдающих за нами милиционеров. Может быть, ошибка? Мания преследования?.. Увы, нет. Двое приближаются к Рабину:

— Пройдите сюда, гражданин!

Нарушая уговор, подбегаю к Оскару, но не успеваю перемолвиться с ним и словом. Легонько подталкивая в спины, нас уводят в сторону, противоположную выходу из метро. Миновав темный коридор, оказываемся в небольшой комнате. За столом, огражденным барьером, грузно восседает милицкий чин:

— Документы!

Нарочито неспешно рассматривает. И поднимает на нас свинцовые глаза:

— Вы обвиняетесь в ограблении.

— Что за идиотизм?

— Не горячись, — перебивает Оскар. — Это какое-то недо-
разумение.

Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут... До начала
выставки остается всего лишь пять. А мы все сидим под при-
смотром милиционера и невысокого, щуплого человека в
модном светлом плаще. У Оскара иссякает терпение:

— Мы — художники. Идем показывать друзьям картины.
Устроенный вами спектакль понятен.

Молчит. И тут Оскара словно ударил ток.

— Держите силой! Пошли, Саша!

Направляемся к выходу, но с неожиданным для его груз-
ной фигуры проворством милиционер рванулся из-за стола
и схватил Оскара за плечи. На меня, умудрившегося достичь
коридора, наваливается "товарищ в плаще". Рабин остано-
вился, понимая, сколь опасно сопротивляться представителю
власти. Но "товарищ в плаще" неизвестно кто. Впрочем,
напрасно пытаюсь вырваться, у штатского выучка милицей-
ская. Умело выкручивает руки, разворачивает меня спиной
к себе. В ответ изо всей силы ударяю его каблуком по голени.
Орет: "Сесть захотел?!" и сует мне под нос Удостоверение
лейтенанта милиции. Ровно в 12 в комнате появляется некий,
высокий уже чин, и вежливо заявляет:

— Извините, произошла ошибка. Грабители пойманы.
Вы свободны.

Выскакиваем на улицу. От метро до пустыря метров
двести.

— Трепят нервы, а там все в порядке.

Мимо нас проезжает и заворачивает к стоянке машина
наших американских друзей Пегги и Давида Наллов. Пегги
приветливо машет рукой.

Мы же прибавляем шаг. Почти бежим. Опаздываем всего
на семь минут. Все, что происходило до нашего прихода, опи-
сано в дневнике жены:

"... еще издали мы увидели на пустыре бульдозеры, грузо-
вики и машины с зелеными насаждениями. Какие-то люди в
штатском преградили дорогу:

— Граждане, здесь разбивается парк культуры. Расходи-
тесь!

Просмотр не состоится!

— Прочь! — раздается мощный голос. — Не дайте рабочим
зарабатывать на хлеб!

Какая-то толстуха лихорадочно разворачивает транспо-
рант: "Все на ленинский субботник!"

Художники стараются показать картины, однако "рабочие"
вошли во вкус: у Юрочки вырвали холст и швырнули в само-
свал с землей, исполненную на фанере работу Меламида
и Комара переламывают пополам.

— Что вы творите? — ужаснулся кто-то.

— Они от этого только лучше станут, — последовал ответ.
Они другого и не стоят!

— Вы не смеете! — Мы никому не мешаем.

— Сейчас вы всем мешаете! — хладнокровно заявляет
милиционер, спокойно взирая на происходящее.

Немухин тоскливо поглядывает по сторонам. Его картина
до сих пор завернута в бумагу. Он колеблется. Я срываю
бумагу. Приближается дружинник с красной повязкой:

— Вы зачем тут сорите? Подберите! По-хорошему говорю,
подберите...

Толпа прибывала. Лил дождь, и пустырь расцветился
яркими плащами и зонтами. Слава Богу, наконец-то бегут
Оскар с Сашкой!.."

Мы с Оскаром ринулись в толпу, забыв о наших благих
намерениях не давать волю нервам, и, будто отснятые круп-
ным планом кинокадры плывут перед мною сюрреалистиче-
ские, озвученные сцены.

... Бульдозеры надвигаются на художников. Один из них
приближается к Рабину, тяжелыми гусеницами подминает
под себя картину, а сам Оскар повисает на верхнем ноже и
подгибает ноги, чтобы нижним их не отрезало. Милиционеры
снимают его оттуда и заталкивают вместе с подоспевшим
на помощь отцу Сашкой в синюю милицейскую "Волгу".

... Эльская влезает на огромную ржавую канализационную
трубу, лежащую вдоль обочины, и поднимает картину над

головой. Мгновение, и полотно летит в грязь, а Наденьке крутят руки. Она отбивается:

— Мы все равно не уйдем! Показ рассчитан на два часа, и два часа мы будем здесь находиться!

... На Жарких накидываются трое. Пытаются повалить его на землю. Какой-то верзила тоном обиженной барышни восклицает:

— Он ругался матом!

Врет. Матом Юра никогда не ругается.

... Двухметрового Рухина волокут четверо. Щегольский пиджак и брюки разорваны, заляпаны мокрой глиной.

... Широко раскрыты испуганные глаза Катюши, семилетней дочки нашего друга врача Векслера. Не все она, конечно, понимает, но что-то сохранится в ее памяти навсегда.

... — Убирайтесь! — орет атлетического сложения детина, обращаясь к канадскому корреспонденту Дэвиду Леви. Щуплый Дэвид возражает:

— Я на службе. Когда советские журналисты выполняют свою работу в Канаде, их никто не трогает. Многим из них я даже помогал.

Атлет поспокойнее:

— Ладно, ладно. Выключайте магнитофон и перестаньте фотографировать.

Кристоферу Рэнну из "Нью-Йорк таймса" его же аппаратом выбили зуб. Вдобавок двое заломили ему руки, а третий бил в живот.

Майклу Парксу из "Балтимор сана" кулаком съездили по лицу.

Линн Олсон из "Ассошиэйтед пресс" силой затолкали в ее собственную машину.

Щедро, налево и направо раздавали "трудящиеся" зуботычины иностранным дипломатам.

Я продираюсь к стоящему на желтом бугре, главнокомандующему операцией "умиротворения". Зарубежным корреспондентам он лаконично отрекомендовался: "Иваном Ивановичем". (Позже мы узнали, что это был зампреда исполкома Ленинского района Петин).

— Прекратите побоище! Остановите этих хулиганов!

Не достаивает ответом.

— Ведь тут же иностранцы!

В маленьких глазках Петина вспыхивает ярость:

— Мало мы их били! Нечего совать нос в наши дела!

А бульдозеры, точно танки, ползут на зрителей. Охотятся за ними. Преследуют по пятам. Те отступают. Расступаются. Но не расходятся. Однако у Петина есть еще резервы. К полю боя подтягиваются поливальные машины. Обдавая толпу обжигающими, ледяными струями, они стремятся очистить пустырь и прилегающие к нему улицы. Люди разлетаются по сторонам, прячутся за автомобилями с дипломатическими номерами, карабкаются, как муравьи, по травяному пятиметровому откосу и бегут, бегут вниз по Профсоюзной.

Ненависть захлестывает меня: "Фашисты!"

На меня медленно надвигается бульдозер. Стою недвижно. Бульдозерист высовывает из оконца лохматую голову:

— Отойди, задавлю!

— Дави!

Рядом вспыхивает костер, в который "торжествующие победители" швыряют картины. Первой погибает "Композиция" Рухина. В огне вспыхивают и гаснут кленовые листья оscarовского "Листопада". С портрета кисти Жарких протягивает тонкие руки, словно моля о пощаде, черноволосая Кристина.

Из оцепенения меня выводит глухой голос Юры:

— Сашенька, послушай, нужно выручать ребят!

Ему пришлось повторить дважды, чтобы я услышал его. Юра прав. Пора действовать, и он торопит: "Скорее! Скорее!"

Только теперь мы видим, что Пегги и Дэвид не уехали, а ждут нас. Непременно хотят подвезти до Преображенки. Лишь дома мало-помалу успокаиваемся, нужно разобраться в ситуации, найти выход.

Прямо на пустыре арестованы Рухин, Оскар и Сашка. Бесстрашную Надю Эльскую постеснялись брать при всех. И лишь когда она углубилась в тихую улочку, набросились по-воровски, исподтишка. Забрали также Тупицына и фотографа В. Сычева.

Мы решили во что бы то ни стало установить с ними связь и выяснить, что им грозит. Во-вторых, послать открытое письмо в Политбюро и передать его иностранным корреспондентам. Лучше всего устроить пресс-конференцию и зачитать его там. За письмо садимся, не откладывая. К вечеру на квартиру Оскара подтягиваются "уцелевшие бойцы". Кто-то острит: "Родина не могла бы преподнести более дорогого подарка своим любимым сыновьям."

Власти и впрямь сделали все, чтобы привлечь к нам внимание мира. Радиостанции сообщают о московском побоище, как о новости номер один. Свежая мысль: давить картины бульдозерами. Кажется, ничем нынче мир не удивишь. А наши взяли да удивили.

Письмо в Политбюро все подписывают без колебаний. Относительно пресс-конференции разногласий нет. Журналистов приглашаю к себе завтра к двенадцати. Все делается открыто. Гебисты должны знать, что мы готовы драться до последнего.

Из 90 и 127 отделений милиции возвращаются жена Тупицына Рита Мастеркова с двумя приятельницами, которых мы откомандировали отвезти арестованным передачи.

Выясняется, что Тупицына в машине избивали ногами. Почти без сознания втащили в камеру предварительного заключения и бросили на пол. Правда, его и других зрителей — (их оказалось свыше двадцати) — отпускают, оштрафовав за нарушение общественного порядка. Художников и Сычева в 11 утра собираются судить. Оскара обещают посадить на год за злостное хулиганство и сопротивление властям. Все пятеро в знак протеста объявляют голодовку.

Пикантная подробность: когда задержанных привезли в отделение, то на стене висел приказ, в котором поименно указывалось, кому из сотрудников надлежало явиться на пустырь в штатской одежде. Не оставалось сомнений, кто были на самом деле разгневанные рабочие.

16-го сентября на заре дом окружают гебисты. Их машины дежурят во дворе. Одна стоит прямо под окнами, и из нее, не таясь, фотографируют всех входящих в подъезд.

К 11 часам собираются художники. Среди них, кстати, и

Герой Советского Союза, член МОСХа Алексей Тяпушкин, он пришел на просмотр как зритель, но, возмущившись увиденным, решил поддержать неконформистов. Подоспел и Тупицын, побледневший, осунувшийся, и только ночью отпущенный мз милиции. Все нервничают. Неизвестно, что задумано теми, что за окном. В 11.40 стук в дверь. Для журналистов рановато.

Входит паренек, который дежурил у телефона в квартире Оскара. Звонит "знаменитый" Виктор Луи, срочно желающий со мной говорить.

О чем с ним говорить? Отказываюсь наотрез. Но Немухин неожиданно заявляет:

— Я пойду. Не по своей же инициативе он звонит.

Видим через окно, как Володечка, держа в зубах папиросу, с независимым видом проследовал мимо зловещих машин. Пропустят обратно или нет? Должны пропустить — в противном случае звонок Луи бессмысленен. Возвращается почти сразу же: Луи предупредил, что пресс-конференция скорее всего не состоится по физическим причинам. "Физические причины"... Что это за штука? Журналистов ли к нам не допустят, или нас укутут? Ни того, ни другого не случилось. Луи просто шантажировал.

В 12 один за другим появляются корреспонденты, их уже более тридцати. Жарких читает наше письмо. Другие рассказывают о бульдозерной эпопее, Тупицын о том, как его истязали. Я говорю о варварской охоте на людей и искусство. Бульдозеры и самосвалы — против картин. Мы требуем наказать виновников погрома и освободить художников. Но на пресс-конференции выясняется, что единственным виновником бульдозерного безумия официально объявлен заведомо культуры Московского горкома партии Ягодкин. Будто бы самочинно, ни с кем не проконсультировавшись, он распорядился: "Давить бульдозерами!"

Мне однажды довелось его видеть в Доме литераторов. Смутный, черноволосый, с мясистым, низким лбом, он выступал перед писателями, он говорил круглыми стереотипно-газетными фразами. Неужто он способен на свой страх

и риск выдать такую импровизацию? Но интересно было, что начальство отдавало своих на растерзание иностранцам.

Когда журналисты расходились, гебисты принялись их фотографировать. Обычно представители западной прессы не очень-то уютно себя чувствуют в таком окружении, но в этот день, может быть, оттого что пострадали накануне (американское посольство даже направило в Министерство иностранных дел СССР протест против грубого обращения с американскими корреспондентами), они ощущали себя героями. Газетчики из Германии, из Франции, англичане, американцы, шведы, итальянцы, норвежцы — целый интернационал! — крепко взявшись за руки, образовали полукруг и, пританцовывая, двинулись на "фотографов". Какой-то молоденький корреспондент вылетел вперед и "вприсядку" прошелся перед гебистами.

Едва квартира опустела, вбежал взъерошенный, запыхавшийся Рухин и стукнул кулаком по столу: опоздал! От него и Рабина потребовали штраф — от каждого по двадцать рублей. Оба отказались платить, и обоих отпустили. При этом Оскар еще разыграл и сценку. Со скучающим видом выслушал гневные тирады в свой адрес и сказал:

— Мне в туалет по-маленькому сходить бы...

В другое время ему бы вlepили дополнительно за оскорбление суда, но на этот раз все обернулось по-другому: власти оказались в позиции обороняющихся. Так славно, казалось бы, могли расправиться с кучкой модернистов, и на тебе — какая свистопляска:

"Бульдозер заливает грязью московскую живопись" ("Таймс" 16.9.74). "Похоже, что могущественный Кремль боится искусства" ("Крисчен сайенс монитор" 17.9.74). "В Москве свирепствует полиция" ("Ля Стампа" 15.9.74). "Художники схвачены с помощью полицейских приемов" ("Зюддейче цайтунг" 15.9.74). "Нью-Йорк Таймс" писала:

"Советский Союз не скоро оправится от последствий спектакля, свидетелем которого была международная аудитория, спектакля, устроенного молодыми коммунистическими головорезами, очевидно, по приказу... Это был черный день для смелых умов в СССР... Еще чернее был этот день

для тех сторонних наблюдателей, которые верили, что прекращение холодной войны и начало разрядки сопровождаются оттепелью в самой России".

Да, боком вышли кое-кому наверху бульдозеры. А ведь только один день минул. А ведь это только начало! И уже не велено судье свирепствовать, и на штрафе не стали настаивать.

Молодым, правда, вынесли покруче приговор — пятнадцать суток заключения. Но кого-то осудить для престижа надо было. Впрочем, Эльскую вечером того же дня (что делается!) освободили, и прокурор, невнятно бормоча о социалистическом гуманизме, извинялся за грубость милиции. Мы были уверены, что Сашку и Сычева тоже долго не продержат.

Правда, на Оскара события подействовали: и утерянные иллюзии, и погибшие картины, и драматические минуты, когда он висел на бульдозерном ноже, и остававшийся под стражей, продолжающий голодовку сын. Нервы его были напряжены до предела, и тем не менее Оскар держался. Первое, что он мне сказал, возвратившись домой из суда:

— Посылаем открытое письмо Советскому правительству.

— Мы уже послали в Политбюро.

— Пусть Политбюро командует коммунистами, а мы должны писать правительству и, главное, — заговорщически наклонился он ко мне, — в камере меня осенило: мы заявим в своем письме, что через две недели снова выйдем на тот же пустырь с картинами.

Идея отличная, как говаривал Владимир Ильич, архигениальная. Я уже заранее жалел потеющих тугодумов самых высоких рангов. Как им быть, когда получают они наше письмо, новую бомбу. Придут в ярость? Но что дальше? Вновь расправляться с нами? Не выйдет ли себе дорожке?

В "Обращении к Советскому правительству", которое я тут же сел писать, пересказав "бульдозерную историю", в заключение говорилось следующее: "Мы также извещаем вас, что через две недели, в воскресенье 29 сентября, осуществим сорванный злонамеренными людьми просмотр наших картин на открытом воздухе в том же самом месте.

В связи с этим мы просим вас указать милиции и другим органам охраны порядка на необходимость не способствовать вандализму и хулиганству, а защищать от него. В данном случае — зрителей, художников и произведения искусства”.

Юра отправляет обращение, а я звоню журналистам. Информация тотчас же передается по телетайпам, чтобы на следующий день прозвучать по всем западным радиостанциям и появиться в газетах. И в это же время за границу передается сообщение ТАСС — официальная версия того, что случилось, предназначенная только для Запада. В ней наша выставка именуется “дешевой провокацией” и объявляется, что “ее вдохновители попросту стремились вызвать антисоветскую сенсацию”.

17-го утром ко мне домой является неожиданный визитер с Лубянки, мой старый знакомый лейтенант Сергей Леонидович Ильин. Два года его не видел, но он мало изменился — такое же упитанное лицо, тот же полунинтеллигентный говор, та же вызывающая на откровенность улыбка. Ах, с каким жаром убеждает меня он, что КГБ и понятия не имело о выставке 15 сентября, ни о планах ее разгрома,

— Честное слово! — горячится он. — Не могут наши люди избивать иностранных журналистов и дипломатов, не выпускать из машин послы, уничтожать картины. Это все милиция! Мы приехали к концу событий и не успели вмешаться. Вы мне верите?!

Что же, раз товарищ Ильин предлагает игру, придется ее принять. Не спорю, не соглашаюсь, а вроде бы принимаю им сказанное к сведению. И тут он меня удивляет:

— Александр Давыдович, — говорит, — вы ведь друг Рабина. Не согласится ли Оскар Яковлевич поговорить с Вячеславом Михайловичем? (Это начальник Ильина).

— У вас же есть телефон Рабина. Позвоните и спросите у него об этом сами.

— Неудобно как-то (о, умилительная застенчивость Лубянки!) . Лучше вы у него спросите. Вячеслав Михайлович к нему заедет вечером, если можно.

— Ничего не обещаю. Позвоните через два часа на квартиру Рабина. Я буду у телефона.

Уехал Сергей Леонидович, даже не попрекнув меня пресс-конференцией. Словно так и полагается отныне советским гражданам — защищаться с помощью зарубежной прессы. Отправляюсь к Оскару. Соглашается он без особой охоты:

— Приму его. Нужно выяснить, что у них на уме. Но никаких компромиссов! Выставка состоится.

Вечером прибывает раздавшийся вширь и посолдневший (видимо, в гору пошел) Вячеслав Михайлович. Сидим втроем в маленькой комнатке. Точнее, двое сидят, а Оскар полужимет на диване в голубенькой майке и разговаривает с трудом, через силу.

Гость — полная противоположность. От него веет солдатской мощью. Он благодушно вторит своему подчиненному: КГБ ни при чем. К тому же виновные — начальник районного отделения милиции и первый секретарь Черемушкинского райкома партии — уже и наказаны (первый отделался выговором, а второго отправили в почетную ссылку послом во Вьетнам). Вячеслав Михайлович ждет нашей реакции. Мы отмалчиваемся. И он продолжает, будто не замечая нашей сдержанности:

— Нам важно понять, чего вы добиваетесь.

Оскар:

— В письме к Советскому правительству сказано: выставки.

— Не скандала? (все-таки не удержался!).

— Скандал устроили не мы.

Вячеслав Михайлович выпрямляется:

— Если речь идет только о выставке...

Оскар перебивает:

— Почему вы нас заранее в чем-то подозреваете?

— Нет, Оскар Яковлевич, — торопится собеседник, — я неправильно выразился. Никто вас не подозревает. А выставка вещь возможная. Только не рассказывайте никому, что именно я вам об этом сказал.

— Смотря как развернутся события...

— Но постарайтесь! — упрощает гебист. И прощается.

В соседней комнате ребята: всем интересно, с чем он явился.

— Зашевелились! — говорит кто-то. — Может, на площади Дзержинского организуют выставку? И ее участников от туда — прямо на Лубянку — благо рядом.

Да, кажется, невероятное становится реальным и для оптимизма более чем достаточно оснований. Кто бы осмелился еще два дня назад предсказать, что стрелка компаса повернется на сто восемьдесят градусов, что к нам, взбунтовавшимся и вчера еще бесправным, полновластные хозяева страны сегодня будут вынуждены направлять своих представителей?

И вместе с тем чувствуем: победу праздновать рановато. Сейчас мы на гребне волны. Во всем мире о нас пишут на первых полосах газеты. Немецкие телевизионщики отсняли фильм.

Оскар в своем интервью заявил:

— Пока мой сын сидит, я ни на какие переговоры не пойду!

18-го Сашку и Сычева выпустили. То ли слова Оскара оказали столь магическое действие или просто случайное совпадение. И следом звонок Сухинича. 20-го ждет нас первый заместитель председателя Моссовета В. Сычев, тезка и однофамилец фотографа. И как бы в предупреждение нам, в этот же день открывает огонь "Советская культура". Правда, не статью опубликовали, а письмо в редакцию от негодующих трудящихся:

"Уважаемый товарищ редактор!

Известно ли вам, что произошло у нас в Черемушках 15-го сентября?

С утра мы, здешние жители и работники расположенных неподалеку предприятий охотно вышли в этот день на заранее запланированный массовый воскресник по осеннему благоустройству и озеленению. Каково же было наше недоумение, а затем и возмущение, когда примерно в полдень на пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова вдруг одна за другой стали останавливаться машины, из которых какие-то развязные, неряшливо одетые люди начали вытаскивать весьма странные цветные полотна в рамках и без рамок с намерением здесь же, под открытым небом, и как раз там, где в этот час работали люди, устроить показ этих своих живописных произведений. С их прибытием трудовой ритм воскресника был нарушен. На спокойном

перекрестке началась толчея, шум и гам; непрошенные гости вели себя вызывающе, вырывали у работающих людей лопаты и грабли, толкали их, стремясь оттеснить от газонов, сорвали плакат, призывающий к участию в воскреснике, мешали движению транспорта, ругались и сквернословили.

Любопытно, однако, что вместе с "художниками" и даже несколько раньше сюда приехали иностранцы. Приехали в машинах с номерами посольств ряда капиталистических стран. Кстати, часть картин и была доставлена в посольских машинах. Среди иностранцев, как потом выяснилось, было немало корреспондентов зарубежной прессы, которые, как стало ясно всем, прибыли сюда отнюдь не для освещения "художественного события". Они демонстративно фотографировали весь этот шабаш и активно в него вмешивались. Корреспондент норвежской газеты "Афтенпостен" Удгорд Нильс Мортен позволил себе даже ударить по лицу дружинника, пытавшегося его усмирить. Были и другие подобные случаи.

Непристойная вылазка группы художников-формалистов принимала таким образом характер преднамеренной политической провокации.

По требованию участников воскресника, вмешались дружинники, а по их просьбе и милиция. Некоторые организаторы "выставки", которые вели себя особенно непристойно, были доставлены в отделение милиции с целью установления их личностей. Ими оказались назвавшие себя "свободными художниками", "неконформистами" некие О. Рабин, А. Кропивницкий, В. Сычев, Н. Эльская, А. Таль, М. Славутская, В. Тупицын и другие, числом до пятнадцати. Картины, которые они привезли с собой, носили, по нашему мнению, явно антихудожественный характер и не вызывали ничего, кроме отвращения и насмешек".

Далее шли пространные рассуждения о живописцах, не являющихся членами Союза художников, промышляющих сбытом картин за рубеж, и слезная просьба жителей Черемушек оградить их от "хулиганствующих мазил". И подписи: "Участники воскресника: В. Федосеев, токарь, ударник коммунистического труда, Е. Свистунов, радиомонтажник, ударник коммунистического труда, В. Половинка, начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Черемушкинского района".

Никто из художников не приезжал на пустырь на машинах, тем более иностранных. Никто ни у кого не вырывал лопаты и грабли, да их и не было. Не мог Нильс Мортен, которого я отлично знаю, ударить по лицу дружинника — воспитание

не то. Вот самого его стукнули, фотоаппарат отобрали и выкрали микрофильмы, не имеющие отношения к выставке. И откуда токари и монтажники выкопали в своем словаре мудреное словечко "неконформисты" (никогда художники так себя не именовали).

В Моссовет отправились компанией: Оскар, я, Сашка, Алексей Тяпушкин, приколовший по нашей просьбе Золотую звезду Героя СССР, Эльская, Жарких, Меламид и Комар. В просторном кабинете нас принимает "сам" Сычев. Знакомит с присутствующими: первым заместителем начальника Управления культуры Моссовета Михаилом Шкодиным, дородным мужчиной с благообразной седой шевелюрой, и невысокой широколицей женщиной Прасковьей Шлыковой, заместительницей того же начальника (сложная у них иерархия!). Здесь же Сухинич и нахохлившийся, готовый в любую минуту перейти в наступление, Петин.

Сразу же начинается бой по поводу выступления "Советской культуры". Петин изо всех сил тщится доказать — правильно все написано. Сорвали художники воскресник! А их и пальцем никто не тронул. И бульдозеров не было, и самосвалов. Кто-то из нас не выдерживает:

— И на костре картины не сжигали? И бульдозерами не давили? И иностранных корреспондентов не избивали? И вся мировая пресса врет?

— Вы же советские люди! — хмурится Сычев. — При чем тут мировая пресса и зарубежные журналисты? Забудьте о них! — "По-отцовски" журит он и нас, и Петина. Мы же свои люди, как-нибудь разберемся. И снова к нам обращается:

— Просмотр этот вы все-таки напрасно устроили. Одни неприятности из-за него!

В разговор включается Тяпушкин.

— Сто двадцать пятая статья Конституции. Свобода слова, собраний, демонстраций...

Сычев сдвинул брови:

— Не стоит вспоминать. Поговорим о выставке. Зачем вам пустырь? Ради нового шума? Нужели нельзя найти место

поэстетичней? Переговоры с вами поручено вести товарищу Шкодину. Приступайте, не откладывая.

Мы поняли, что наверху больше всего страшатся, что опять пойдем на пустырь. Срочно засадили его саженцами.

Вечером слушаем новости по "Немецкой волне", "Би-Би-Си" и "Голосу Америки". Против бульдозеров, милиции и КГБ наше единственное действенное оружие — гласность. А за "гласность" отвечаю я...

В субботу 21 около двенадцати ночи иду от Оскара. Открываю двери подъезда. Поднимаюсь по ступенькам. Словно в детективном фильме, вырастают два подтянутых, одинаково одетых человека. Приблизились вплотную и, не повышая голоса, совершенно спокойно говорят:

— Мы тебе выколем глаза, паскуда, чтобы не увидел ты этих картин.

Растерявшись, почти машинально произношу:

— Выкалывайте.

— В следующий раз,— сказал один из них,— и они удалились.

Ночью почти не спал. Как только рассвело — поехал к Оскару.

— Необходимо позвонить журналистам!

— По-моему, не стоит, — говорит он. — Тебя просто провоцируют, чтобы вывести из строя.

Так и решили. И, очевидно, ошиблись. Молчание мое было воспринято как трусость, и в воскресенье произошло следующее.

Вновь возвращаюсь от Оскара. Время полдвенадцатого. Спать еще не хочется. Решил прогуляться вокруг дома, иду по узким доскам возле забора, окружавшего строящуюся поликлинику. Навстречу двое. Отхожу чуть вправо, чтобы их пропустить. И они — туда же. Я — влево, и они вслед за мною. Оборачиваюсь — сзади, словно из-под земли — другая мрачная пара. Сомнений не остается, но из ловушки уже не вырваться.

Один из них сдал мне челюсть, так что рот широко открылся, второй засунул в него кляп. Подтащили вчетвером к толстому дереву, вплотную к забору, привязали к стволу, избивали, оплевали лицо и скрылись. Слышу голоса соседей, прогуливающих собак, но позвать на помощь не в силах.

Но, видно, специально привязали меня несильно, чтобы сумел высвободиться и предстать перед окружающими.

Утром, выслушав меня, Оскар сжимает кулаки:

— Звони этому "другу" в КГБ и скажи, что даром это не пройдет!

Набираю номер:

— Вячеслав Михайлович? Предупреждаю, что будет созвана пресс-конференция!

— Но что случилось?!

Опять КГБ в неведении?

— Никаких пресс-конференций! Сейчас же свяжемся с вашим отделением милиции. Вас будут охранять! Это, наверное, художники-реалисты, очень они злы на вас...

Я расхохотался, бросил трубку.

Через час ехать на переговоры к Шкодину. Оскар чувствует себя плохо.

— Сегодня — обойдетесь без меня.

Шкодин говорит так, будто просмотр уже разрешен:

— Где будем устраивать выставку?

Предлагаем три варианта: набережная, улица и парк. Последнее, с нашей точки зрения, предпочтительней. Помогающие Шкодину Шлыкова и Сухинич предпочитают помалкивать. Он не против парка, но настаивает, чтобы экспонировали работы только москвичей:

— Вы же в Моссовет обращаетесь. При чем тут ленинградцы?

Эльская перебивает его (в ее голосе, как всегда, когда она сердится, слышны металлические нотки) :

— Рухина арестовали, картины его искалечили, а теперь его в отставку?

— А у Жарких картины сожгли, — говорю я. — Без ленинградцев выставка не состоится.

Сражаемся не менее получаса. Стоим на своем. Отвергаем всякие ограничения, связанные с местом жительства. Единственно, что гарантируем: антисоветчины и порнографии не будет.

— А как насчет религиозной пропаганды? — осведомляется Шлыкова.

С этим сложнее. Религиозное возрождение последних лет в России коснулось и художников. И в творчестве многих из них религиозные мотивы — совсем не случайность, а принципиальная позиция. Но ради первой официальной выставки неофициального искусства уступаем и тут.

— Хорошо, — соглашается Шкодин. — Друзей вы отстояли, насчет парка возражений нет. Но вот какой парк вы хотите?

Он едва сдерживает раздражение, кажется, будь его воля, он не парк бы нам предоставил, а по тюремной камере на каждого. Но директива есть директива. И сидит Шкодин в массивном кожаном кресле, и, поглаживая седые виски, внимательно нас выслушивает.

Еще дома мы с Оскаром остановились на Измайловском парке, огромном, с раздольными полянами, с удобными подъездными путями — хотите на машинах, хотите на метро, хотите на трамвае... Поэтому, не колеблясь, говорю:

— Измайловский!

Шкодину, собственно, все равно. Но зато неожиданно-негаданно он настаивает на переносе выставки с 29 на 28, с воскресенья на субботу.

— В воскресенье свободную площадку не найдете. Повсюду концерты, народные гулянья, спортивные соревнования.

Смотрю на Тяпушкина, Немухина, Эльскую. Не спорят. Может быть, он и прав. Может, никакого подвоха и нет. Почувствовав наше недоумение, он продолжает: — если принимается его предложение, то завтра с утра едем в парк подыскивать место. Отвечаю, что мы не полномочны решать за всех. Шкодин нетерпеливо барабанит пальцами по столу:

— Что вы за инициативная группа без инициативы! Такую ерунду и то решить не можете.

Но мы стоим на своем — неполномочны! И слава Богу, потому что Оскар о 28 и слышать не хочет. Ходит по комнате злой, доводов у него нет, знает лишь одно. Если что-то выгодно Шкодину — значит для нас не подходит. Интуиция не подвела. Впоследствии выяснилось, что расчет у Шкодина на редкость прост. В субботу студенты учатся, преподаватели работают, так что не было бы и половины зрителей, собравшихся в воскресенье.

Для Шкодина наше упорство — гром среди ясного неба. Он накануне, верно, уже доложил начальству, и вдруг осечка. Снисходительно-барственным тоном он снова перечисляет плюсы субботы. Ему поддакивает новый "персонаж" — председатель Горкома художников-графиков Москвы Владимир Ащеулов. Маленький, крепкий, с нечистым "блатным" лицом, он мучительно жаждет отличиться. Перемежает угрозы уговорами. Шкодин, ощутив безнадежность своей позиции, тяжело поднимается:

— Не хотите выставки — не надо!

Встает и Оскар:

— Мы обещали за три дня до воскресенья информировать, где будет просмотр. Срыв переговоров означает, что просмотр будет на пустыре.

Этого Шкодин боится больше всего. Поэтому тотчас распрягается:

— Едем в парк!

В парке комедия продолжается. По очереди, то Шлыкова, вначале, потом Ащеулов и Шкодин предлагают явно негодные для экспозиции места — молодую рощицу, то крохотную поляну, перерезанную оврагом, то тесный дворик при парковой столовой. Рабин теряет терпение, говорит, что с него довольно.

— Оскар Яковлевич, — улыбается Шлыкова, — сначала вы от субботы отказываетесь, теперь ни одно место вас не устраивает. Вы слишком возбуждены.

— Да, конечно, я сумасшедший, — тихо отвечает Оскар.

— Вот вы и сами признаете, — подхватывает Шлыкова, — что не в состоянии разумно рассуждать.

Оскар возражать не стал. Махнул рукой и уехал, только успел сказать нам:

— Не поддавайтесь!

Собеседники наши перешли в наступление. Теперь они уже все говорили зло, с раздражением, каждый по-своему.

— Давайте, — предложил я, — мы сами подыщем подходящее место, а потом вам покажем. Шкодин, нехотя, соглашается, но не без ехидства замечает, что группа молодых художников, "жаждущих участвовать в просмотре", названивает

Ащеулову. Кто, позвольте спросить, предварительно посмотрит их произведения? Кто будет нести за них ответственность?

Договариваемся заняться молодыми в четверг: двое от жюри Горкома, двое — от нас.

Все как будто налаживалось. Но куда испарился оптимизм Оскара? Он не верит ни Шкодину, ни Ащеулову, никому из этой компании. Почти не спит, пичкает себя транквилизаторами. Ежедневно бывает у врача...

В среду утром находим в Измайлове огромное зеленое поле, место идеальное. Оглядывая поле, Шкодин задумывается и то и дело повторяет:

— Это дело непростое! Непростое!

А позже, уже у себя в кабинете, говорит, что Измайлово — не парковая, а лесопарковая зона со своим директором, и Управлению культуры он не подчиняется.

— А Советской власти он подчиняется? — спрашиваю я. Шкодин морщится.

— Конечно, подчиняется! Но нет его! Уехал в командировку. Я навел справки у двух заместителей — они разбираются лишь в разведении цветов.

Потерявший самообладание Оскар устремляется к телефону:

— Агентство Рейтер? Это художник Рабин. Моссовет сорвал переговоры. Мы выходим на пустырь!

Я выхватываю у него трубку. Оскар кричит Шкодину:

— Жалею, что подавал вам руку! Он стремглав вылетает из кабинета, мчит по лестнице. Мы с Тяпушкиным договоряем его только на первом этаже. Он прислонился к стене. По лицу текут слезы.

— Пошли, Оскар...

— Дай мне телефоны корреспондентов!

Обнимаю его:

— Позвоним позже.

Он отталкивает меня:

— Ты не друг мне, а враг...

Сверху показывается побледневшая шкодинская секретарша:

— Прекратите хулиганить!

— Твой начальник — фашистская мразь! — ору я что есть сил. Гулккое эхо под сводами старинного особняка удесятенно разносит: мразь... мразь... мразь...

На дворе бабье лето, и двери подъезда распахнуты. Прохожие с любопытством заглядывают сюда. Тяпушкин изо всех сил пытается вытащить нас на улицу. Наверно, в эту минуту он похож на санитаря, который удерживает двух сумасшедших.

Останавливаю такси. Машина пробирается по узкой Неглинке, выезжаем на Садовое кольцо. Через пятнадцать минут мы у Оскара. Квартира полным-полна и все — художники. Они-то надеялись на лучшее... Ни о чем не спрашивают. Все прочли по нашим лицам.

Устраиваю на диване, ставлю на колени телефон и набираю номер за номером: "Юнайтед пресс", "Агентство Рейтер", "Нью-Йорк Таймс", "Монд", "Стампа"... Как заведенный втолковываю и корреспондентам и КГБ:

— Если до 18 часов нам не дадут разрешения на просмотр картин в Измайлове, то в воскресенье идем на пустырь.

В 15.55 звонок. Шкодин...

— Я подписал приказ о выставке в Измайлове 29-го сентября с 12-ти до 16-ти...

— Одну минутку! — от избытка чувств запускаю в Юру записной книжкой. — А когда можно ознакомиться с документом?

— Неужели вы мне не доверяете?!

Напоминаю Шкодину уговор: художники получают письменное разрешение на руки, чтоб исключить недоразумения. Он, разумеется, юлит. Не хочет давать бумагу за своей подписью. А если завтра в верхах передумают, наплюют на де-тант и прикажут вновь расправляться с модернистами? Шкодин, естественно, не против дать "документ", он — "за"! Но пока суд да дело разрешение с его подписью попадет на Запад. Свое руководство Шкодин знает великолепно. Ссылаться на прежние, от него же поступившие указания не только глупо, но смертельно опасно. Скажут, провокация, со света сживут. Однако и этим горлопанам отказывать

нельзя. Пойдут на пустырь, и опять же ему, Шкодину, — конец.

— Завтра приезжайте, — говорит он.

В четверг у входа в Горком толпится с холстами человек пятьдесят. У председателя заседают угрюмые члены выставки. Каждый хочет ускользнуть от сомнительного поручения. Ни одного живого лица. Ащеулов заискивающе обращается к нам:

— Посмотрите-ка вдвоем картины и отберите, что понравится.

Страшась ответственности, целиком доверяются нам. Делаю вид, что и для нас это тяжкий груз:

— Тогда необходим каталог. Чтобы за людей, которых раньше не видели, не отвечать.

Ащеулов "попадает на удочку", он согласен, и таким образом хоть напечатанный не в типографии, а на машинке, но каталог будет.

За час "пропустили" все работы. Абстракционистов смотрели мельком, лишь записывали названия и фамилии авторов.

Даже на уровень почти не обращали внимания, главным для нас было другое. Мы добивались первой в СССР официальной экспозиции доселе запрещенного модернистского искусства. Любой художник в любой момент мог присоединиться к нам, хоть за 15 минут до просмотра.

Последнее свидание со Шкодиным. Он начинает издали. Наверно, придут сотни зрителей. Неплохо бы установить поблизости ларьки. Пусть торгуют бутербродами и лимонадом.

— Ларьки не наша забота, — едва выдавливает высохший, почти черный Оскар, — тошно ему со Шкодиным.

Тот укоризненно качает головой. Мол, до чего же невоспитан!

Потом раскрывает пухлую папку с приказами. Читайте. Все вроде верно. Только где же копия для нас? Оказывается, давать ее нам Шкодин и не собирается:

— Мне не жалко, но... Приказы бывают двух типов. С этого снимать копию не положено.

— А где гарантия, что вы... не уничтожите оригинал?— впи-

вается в него Оскар, и как заклятие: Мы пойдем на пустырь!

Уже дома разгорается спор. Я убежден, что Оскар не прав. Зачем нам пустырь? Разрешили выставку в Измайлове. Если замыслили провокацию, пусть устраивают ее в парке. Выходить на пустырь — давать врагам козыри. Наверняка скажут, что им не выставка нужна, а скандал. Просили Измайловский парк? Получили? Так чего ж их понесло на пустырь?

Все поддержали меня, но Оскар был неумолим:

— Вы в парк, а я один на пустырь!

Оба много ночей не спавшие, оба издерганные, мучаем друг друга. Оскар твердит:

— Я иду на пустырь!

— Ты же понимаешь, что одного тебя мы туда не пустим. И Сашка, и Надя, и я пойдем с тобой. Нас заберут, и выставка сорвется.

— Если пойдем и ты, и я, то все пойдут за нами. Пойдут на пустырь.

— Но какое ты имеешь право вести людей на плаху?

На лице его злость.

— Имею право!

— Какое?

— А что сделали с Гумилевым? Убили. А что сделали с Мандельштамом? Убили.

— Ну и что?

— Ничего. Пустырь.

В соседней комнате — тишина. Немухин курит папиросу за папиросой. Тяпушкин вышагивает из угла в угол. Появляется Оскар в плаще и берете.

— Я еду к отцу Димитрию.

— Но это же восемьдесят километров!

— Сегодня вернусь, — подходит ко мне и чуть слышно говорит, — поступай как знаешь. Я за выставку, а не скандал.

Лихорадочно думаю, как все-таки быть со шкодинским приказом. Звоню ему:

— Если придет наш фотограф, ему позволят сфотографировать приказ?

— Д-да...

— Если к вам приедут иностранные корреспонденты, вы им покажете приказ?

— Д-да...

Набираю знакомые номера и каждого из журналистов прошу звонить Шкодину. Пусть он им подтверждает разрешение...

Не знали мы, однако, что нас еще ждет впереди. Накануне выставки, названной нами (не без иронии) "Вторым осенним просмотром картин на открытом воздухе", зампреда Моссовета наш "покровитель" Н. Сычев устроил пресс-конференцию для зарубежной прессы. Он упрекал журналистов в сгущении красок при описании бульдозерной истории и подчеркнул, что в Измайлове художники будут показывать работы друзьям. Пропустят лишь с пригласительными билетами.

Около полуночи стало также известно, что наше поле окружили стоянками и прочими заграждениями, а комсомольский актив МГУ собирали на секретный инструктаж. Атмосфера сгущалась, и в 12 ночи Оскар срывающимся голосом зачитал корреспондентам по телефону заявление. В нем говорилось, что если вход на выставку будет лимитирован или произойдут какие-нибудь безобразия, то художники через десять минут унесут картины, но спустя две недели вновь придут с ними в Измайлово. Это был беспроегрешный ход. И вскоре мы поняли, что власти смирились с поражением. Не растягивать же до бесконечности эту неприглядную историю, принесшую им столько неприятностей. Приведу высказывания одних только американских газет (а ведь именно теперь СССР так стремится получить от США статус наибольшего благоприятствования!).

"Немыслима более убедительная демонстрация сущности реакционной сущности советского строя" ("Ньюс-Уик" 30.9.74).

"Разрядка теперь под вопросом" (там же).

"Поскребите советскую систему — и увидите бандитизм, столь типичный для полицейского государства" ("Балтимор сан" 17.9.74).

Даже в Американском Конгрессе сенаторы, ссылаясь на

московский инцидент, сомневаются теперь в возможности киссинджерского детанта. Нетрудно представить ощущение властей, что из-за каких-то дурацких картин сводится на нет их заигрывание с Западом. Первая мысль тривиальная: Растоптать! Но ведь нельзя, никак нельзя! Приходится играть в либерализм.

Так вот и свершилось чудо. В осенний, но по-летнему салитый жарким солнцем, ниспосланный Богом день, когда сияло небо, сияла золотая листва, сиял прозрачный воздух, долгожданная выставка состоялась.

Более семидесяти художников принесли в парк около двухсот пятидесяти произведений совершенно различных стилей — от фантастического реализма, религиозного символизма и сюрреализма до поп-арта и абстрактного экспрессионизма, — и расставили их во всю длину широко раскинувшегося перед ними поля: кто на тренажерке, кто прямо на траве, подперев палками. Зрители — многие с детьми на плечах — шли плотной нескончаемой массой. То ли десять, то ли пятнадцать тысяч их было. Смотреть трудно. Из задних рядов часто слышалось:

— Не видно! Не видно!

И художники поднимают полотна на вытянутых руках. Временами раздаются аплодисменты, и парадокс весь состоял в том, что если бы не давили нас бульдозерами, то все, возможно, ограничилось бы двумя часами показа нескольких десятков холстов в присутствии нескольких сот зябко ежившихся под дождем человек. И теперь, — поистине праздник! И не только нонконформистов. Вместо шайки головорезов — тысячи на редкость доброжелательных людей. Появившихся в толпе крикунов они умирят сами:

— Да это не картина, а издевательство. Не понимаю ее!

— Что вы кричите? Я ее тоже не понимаю. Но почему издевательство?

Разговор пожилой супружеской пары. Он:

— Ну, хватит, я устал. Неужели тебе это нравится?

— А тебе все не нравится?

— Кое-что нравится.

— Вот и мне кое-что нравится. А главное — свежо, искусство наказанное.

К Рабину и ко мне подходят знакомые и незнакомые. Поздравляют. Уверяют, что мы даже сами не осознаем, чего добились. По сторонам шныряют стукачи, непроницаемые лица которых резко выделяются среди окружающих. Но что сегодня за день: никто их не боится. Корреспондент АПН (точнее КГБ) не отходит от черноволосой девушки в джинсах, с фотоаппаратом:

— Что вы можете сказать о выставке?

— Очень здорово!

Он со значением:

— Где вы учитесь? Как фамилия?

Пожалуйста, учусь там-то, фамилия такая-то.

Четыре часа свободы! Для нас они краткий миг. А для властей — вечность. Ащеулов озабоченно:

— Александр Давыдович, не забудьте, пожалуйста, что в четыре закрытие.

Какой такт. Будто и не он вместе со Шкодиным выматывали нам душу, и не он хвастался, что "миндальничать" с Рабиным не станет — вышвырнет из Горкома, и не он стучал ногами на Серезу Алферова:

— Чего это тебя на жидовскую выставку потянуло?

А милиционеры нынче какие вежливые, какие интеллигентные. Не ругаются. Не рычат (как лейтенант Авдеев 15 сентября на Рухина: "Перестрелять бы вас всех, да патронов жалко!"). Лишь за порядком наблюдают. Случайных пьяниц уговаривают отойти в сторонку. Если бы так всегда. Но нет. У нас четыре часа свободы. У них четыре часа правопорядка.

Время приближается к четырем, а зрители не убывают. Ащеулов спешит к Оскару, который в изнеможении растянулся на траве. Затем рысцой ко мне:

— Напомните художникам, что уже пора!

— Не беспокойтесь. Все, что мы обещаем, выполняется.

Четыре часа. Ребята с холстами в руках направляются к метро, а зрители еще долго не расходятся, спорят до хрипоты о современном искусстве.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ИЗРАИЛЕ

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА КОПЕЛОВИЧА

Немногие знают, что в Израиле, при всем многообразии культурных традиций, есть люди, уже многие десятилетия хранящие прекрасные русские библиотеки, архивы и коллекции русской живописи. Недавно я познакомилась с обладателем одной такой коллекции, художником Александром Копеловичем.

Его семья покинула Москву в 1925 году, когда пошел на спад недолгий экономический либерализм Советского правительства. Десять лет семья провела в Риге. В эти годы Копелович начал учиться живописи у академика С. Виноградова, продолжателя реалистической традиции русских передвижников. Сбирать картины Копелович начал еще в России, но наиболее ценные из них он приобрел в Риге. В 1936 году художник переехал в Париж, два года дышал атмосферой Лувра и музея импрессионистов "Же де пом", а в 1940 году окончательно обосновался в Палестине. Его коллекция путешествовала с ним.

Теперь картины висят на стенах гостиной с пятиметровыми потолками в его старом, восточного стиля особняке на улице Жаботинского в Иерусалиме. Шедевр коллекции — "Пикник" Б. Кустодиева. Александр Давидович рассказывает об этой картине, купленной у самого Кустодиева его отцом. "Посмотрите, Кустодиев писал это, когда был уже парализован, а какая радость бытия, какая сила в этом полотне!" Только начинает светать, поляна покрыта еще зеленым сумраком. Молодая компания сидит у костра под большой сосной, вдали кучер раздувает самовар. Краски, как всегда у Кустодиева, светятся, блики костра освещают участников пикника.

Совсем иной колорит у Виноградова. "Ледоход на Двине" — благородная серая гамма, оживленная красными крышами домов и контурами церкви. Виноградов подарил ее любимому ученику. Другая картина Виноградова, "Зима, баба с санями", куплена в Лондоне. Это грустный зимний пейзаж.

Есть у Копеловича и такие добротные мастера, как Н. Крымов, С. Жуковский, А. Степанов. Леса, опушки, охота с гончими. Целый мир, кажущийся туманным призраком под спящим иерусалимским солнцем...

Еще одна находка — "мирискусники": Добужинский и Судейкин. Кисти Добужинского принадлежит, например, "Театральная декорация". Это русская усадьба начала XIX века. Зала с выходом на веранду, ковры, три стройные дамы. Одна играет на рояле, другая полулежит на диване, третья вышла на веранду. Бело-зеленые тона залы и платьев тонко передают меланхолическую атмосферу помещичьего дома. Картина Судейкина — декорация к опере. Перед нами



Б. Кустодиев "Пикник", 1920. Холст, масло. Публикуется впервые.

дамы с закутанными в плащ кавалерами в масках. Темные гирлянды аллеи подчеркивают накал страсти.

В Израиле собрание Копеловича пополнилось работами израильских мастеров. Мане Кац, Людвиг Блюм, Курт Зингер, Грети Рубинштейн соседствуют с русскими картинами.

Сам Александр Копелович — известный фабрикант художественных красок и профессиональный живописец. Он начал писать в Риге, продолжая линию Виноградова. Но уже в тридцатые годы наступает новый этап. Художник создает картины в духе современного натурализма. Позднее он отходит от этого стиля, пробует себя во многом, пишет, например, эффектные акварельные этюды обнаженных тел, и постепенно находит свой теперешний стиль и свою тематику — импрессионистские пейзажи Иерусалима.

У Копеловича сохранилась и замечательная библиотека. Особенно ценны в ней комплекты русских журналов по искусству начала века, давно ставшие библиографической редкостью и в самой России.

Есть в Израиле и другие коллекции русских картин. Несколько полотен у отца Копеловича, Давида Наумовича. В его собрании, например, женский портрет работы Левицкого, несколько картин Поленова, рисунок Левитана. В семье миллионеров Широверов в Иерусалиме хранится портрет Корнея Чуковского работы Репина, никогда не воспроизводившийся в советских изданиях.



А. Копелович. Портрет жены, 1944. Бумага, гуашь.



Левицкий. "Дама с розой".



Судейкин. Декорация к опере. Холст, масло.

Публикуется впервые



Виноградов. "Зима, баба с санями", 1928. Холст, масло.

Публикуется впервые.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК (ГЛУЗБЕРГ). Писатель. Родился в 1945 году в Москве. Учился в Художественной школе живописи и ваяния на Кудринской улице, в Московском государственном университете им. М. Ломоносова, на курсах театральной критики при журнале "Театр". С 1965 года публиковался в советских периодических изданиях как театральный критик и журналист. Уехал из СССР в 1975 году и в настоящее время живет в Иерусалиме.

ГЕЛИЙ СНЕГИРЕВ. Писатель. Родился в 1927 году. В течение двадцати лет работал в области кинодокументалистики как режиссер и сценарист. В 1974 году исключен из Союза писателей Украины с запрещением печататься. Исключен также из Союза кинематографистов с запрещением работать в кино. В 1974 году получил тяжелую сердечную болезнь, а вскоре в результате кровоизлияния почти ослеп. В настоящее время инвалид второй группы, пенсионер.

БОРИС СУВАРИН. Политический деятель, историк. Родился в 1895 году. Один из основателей французской компартии, а впоследствии — один из секретарей III-го Интернационала. Находясь на этом посту, сотрудничал с Лениным, Троцким, Бухариным, Радеком, Раковским, Кларой Цеткин и др. Исключен из III-го Интернационала за "нарушение партийной дисциплины". Был парижским корреспондентом института Маркса-Энгельса, а затем корреспондентом института социальной истории. Сотрудник Британской Энциклопедии социальных наук. Основатель и директор журнала "Contrat social".

ЕФИМ ЭТКИНД. См. журнал № 21.

Впервые на русском языке без сокращений и купюр

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ "КРОВАВАЯ ШУТКА"

Перевод с идиш Гиты и Мириам Бахрах

В этом романе Шолом-Алейхем предстает во всем многоцветии своего таланта. Блестки народного юмора, мудрые раздумья, немеркнущий оптимизм — все, что так пленяет в других его произведениях, присутствует и здесь. Главным героям придется переживать множество приключений и испытаний. Жизнь искушает их любовью и враждой, призраком счастья и горечью разбитых надежд... Запутанность сюжетных ситуаций создает постоянное напряжение, и роман читается как психологический детектив, в котором шутка, на первый взгляд вполне безобидная, оборачивается кровавой трагедией.

Роман состоит из двух томов. Подписная цена на оба тома — 85 лир. Стоимость за границей — 8 долларов. Подписная цена на оба тома — 15 долларов. Заказы с приложением чека направлять по адресу:

Gita Bakhrakh p.O.B. 170, JERUD, ISRAEL

ДИМИТРИЙ ПАНИН

"МИР-МАЯТНИК"

Русский философ и инженер, Д. Панин, после 16 лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях опубликовал на Западе "Записки Сологдина", "Вселенная глазами современного человека", "Солженицын и действительность". Автор книги "Мир-маятник" призывает людей доброй воли всех стран земного шара не дать остановиться развитию человечества, приближающемуся к конечной точке размаха маятника. Конструктивные решения опираются на законы природы, данные науки и положения, проверенные жизнью.

Цена книги в Израиле — 32 лиры, в США и Канаде — 6 \$ во Франции — 32 F. FR, в Германии - 16 DM

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

A.DP., B.P. 79, 75762 Paris Cedex 16, France.

В ближайшее время выходит книга Липы ФИШЕРА

"ЛАГЕРНЫЙ ПАРИКМАХЕР"

(перевод с идиш Зельды Бейралас)

275 стр. Цена 40 лир. Чеки направлять по адресу:

ул. Аципорним, 6/18, Рамат-Йосеф, Бат-Ям.

ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

ВЕСТНИК РХД № 121

В журнале публикуется большое количество материалов о русской культуре, философии, истории. Имеется раздел, посвященный отношению христианства и иудаизма.

В новом номере журнала впервые публикуется статья Александра Солженицына о книге Игоря Шафаревича "Социализм как явление мировой культуры". Среди других материалов номера следующие:

ФИЛОСОФИЯ

К столетию со дня рождения С.Л. Франка (1877—1950)

Н.О. ЛОССКИЙ - Очерк философии С.Л. Франка

С.Л. ФРАНК - О невозможности философии

С.Л. ФРАНК - Духовное наследие Владимира Соловьева

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

К столетию со дня рождения А. Ремизова (1877-1957)

А. РЕМИЗОВ - Полевые цветы (из неизданной книги)

Н. РЕЗНИКОВА - А. Ремизов в Париже (1923-1957)

Последние годы жизни Ремизова в письмах к Д. Соложову

Анна БАРКОВА (СССР) - Обыкновенная жизнь (стихи)

Из журнала "37"

Обзор материалов самиздатского журнала "37" - Н. Гиряев (СССР)

Письмо Н. Гумилева В. Брюсову

Стихи С. Стратановского и В. Алейникова

СУДЬБЫ РОССИИ

Светлой памяти Сергея Иосифовича Фуделя - А. Бурдеев (СССР)

С.И. ФУДЕЛЬ - Воспоминания

Неизданное письмо К. Леонтьева к С.И. Фуделю

ХРИСТИАНСТВО И ИУДАИЗМ

Игумен Геннадий ЭЙКАЛОВИЧ - Еврейский мессианизм

Из интервью журналу "Евреи в СССР" - Е. Барабанов и Г. Шиманов

60 лет сопротивления насилию

О Тамбовской войне 1921 г. - К. Криптон (США)

"Опричнина 1977" - Т. Ходорович, В. Некипелов

После ареста Гинзбурга - Т. Ходорович, М. Ланда, А. Солженицын

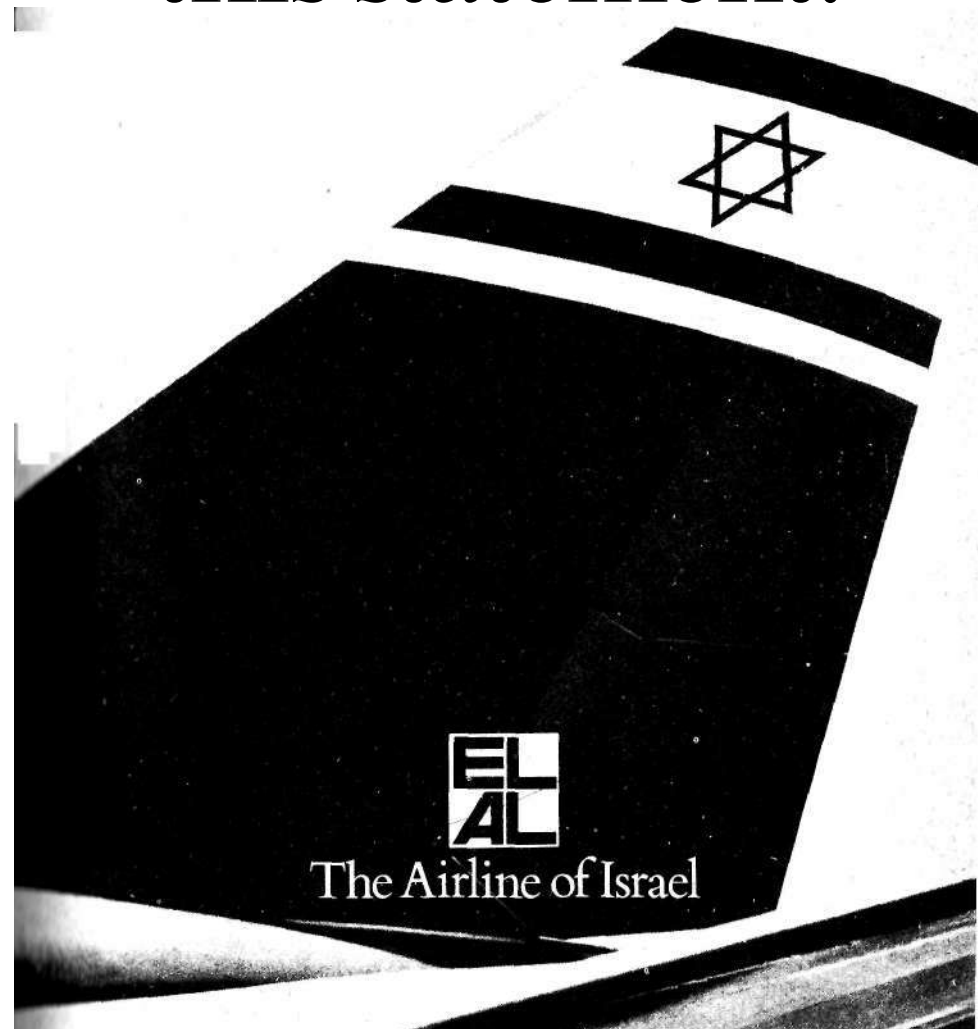
Заявление Эдуарда Беннета

Ответственный редактор — Н.А. Струве

Представитель в Израиле: М. Агурский

РОВ 7433 Иерусалим

No other airline this statement.



Зав. редакцией Марина Голубева

Художественный редактор Альфред Кронберг

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п я 24123, Тель-Авив Тел. 621085.
62/9 Nachmam st. T -A. Tel. 621085.

Типография "Дерби" Улица Микцоа, 9. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки "Натюрморт" Оскара Рабина, 1971 г.

